



Анна
Гайкалова

Марфа

Анна Гайкалова

Марфа

«Издательские решения»

Гайкалова А.

Марфа / А. Гайкалова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831630-2

Как часто нам приходится слышать, что надо уметь выбрать главное. Но что если достаточно понять причины и следствия, увидеть связи, чтобы мир повернулся иной гранью, где не нужно отказываться ни от чего? Три независимые повести объединены непривычным ракурсом поиска ответов на вечные вопросы. Читателя ожидает вереница инсайтов, когда перед его глазами предстает единое полотно, где нет противоречий, но одно дополняет другое: любовь, семья, творчество и реальность непостижимого.

ISBN 978-5-44-831630-2

© Гайкалова А.

© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
От автора	9
Нам легко слушать небо	10
Разбитый арбуз	64
Строковы	64
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Марфа

Анна Гайкалова

Дизайнер обложки Е. О. Шварева

© Анна Гайкалова, 2020

© Е. О. Шварева, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4483-1630-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Вот и еще одну книгу Анна Гайкалова выносила, родила и выпустила в мир. Равно, как и предыдущие ее книги – «День девятый» и «76 море Павла и Маши П.», эта книга не читается быстро, с налету, походя. Это чтение требует душевного труда, требует времени на осмысление и приятие. Вместо крутых сюжетных поворотов нам предлагается медленное течение реки времен, реки жизни, реки судеб. Эта книга, собственно, триптих, объединенный общей идеей, общим видением мира: «Нам легко слушать Небо», «Разбитый арбуз» и «Марфа». Все три повести, вроде бы, о разном, но, дочитав до конца, начинаешь понимать, что они об одном. Об отношении человека к миру и об отношении человека к другим людям, в основном, близким, но иногда и чужим, далеким.

В технике есть понятия – импульсные и аналоговые (непрерывные) системы. Мир, созданный Б-гом, явно аналоговая система, потому что он непрерывен. Но эту непрерывность надо вначале увидеть, почувствовать, а затем отразить ее. Это отражение есть почти непосильная задача для литератора. Так вот, в отличие от многих других отражений, которые дробят мир на осколки, отражение мира, которое нам дает Анна Гайкалова, непрерывно. Текст повести так устроен, что материальный и духовный миры постоянно переходят друг в друга, так что в конце концов – кто раньше, кто позже – мы начинаем понимать, что миры неразрывны, что они один в другом, как китайские костяные шары или даже более того...

Есть такой опыт: насыпать полный стакан гороха. Потом насыпать в него манки, встряхнуть и досыпать – будет полный стакан манки с горохом, а потом залить все это водой. Будет полный стакан гороха, манки и воды. Так и наш мир – все помещается в одном, и автор показывает людям, как все совмещено в одном пространстве и времени, в одной нашей жизни. Так, как написано:

«Вот так оно и будет перетекать, словно пряжа из руки в руку, словно радужная игрушечная пружинка малыша, словно содержимое песочных часов – размеренных, но скоротечных».

Персонажи повести – люди, животные, растения, строения, процессы, полный собственных мыслей и ощущений полуразвалившийся дом, хозяйка (явно лирический герой автора), муж, дети, кот, Луна, Солнце, старая целительница-ведунья, Святой, ястреб, облако...

«Человек не сможет больше ценить себя малой мерой, познав этот мощный зов. Ты нужен мне, – огромно вздохнет тебе навстречу благословенная земля. Ты увидишь ее простертость, ты узнаешь себя в ее предпочтении. И заговоришь со мной о Царе».

И, кроме того, очень важно: при трепетном отношении ко всему сущему (не испортить, не повредить) полностью положительное восприятие нового. Например, дворцы, о которые кто только ноги не вытирал – от зависти или по глупости – украшают пейзаж, и начинаешь понимать, что ни зависти, ни глупости в этой Вселенной места нет, они с душой автора не резонируют. Отсюда и приятие идеи детей, которые «не так воспитаны». Отсюда и этот конец, практически декларативный:

«Хватит нам разрушать. Пришла пора новый дом строить».

«Читатель ждет уж рифмы «розы»,
На, вот, возьми ее скорей»
(А. Пушкин, «Евгений Онегин»)

«Разбитый арбуз» – произведение совсем, казалось бы, другого рода. Сюжет, герои, мораль – все расписано и расставлено по местам. Муж, на первый взгляд, хам и грубиян, апологет финансового процветания, идет если не по трупам, то по раздавленным душам, жена – слабая страдальца с опущенными руками, несчастные дети, раздираемые противоречиями в идеологии родителей...

И что? И где мораль? Сострадание? Осуждение?

Не будет вам рифмы «розы», не дожидаетесь! Во второй части «Арбуза» начинается катавасия и свистопляска, а автор вместо раздачи – сестрам по серьгам – ставит все с ног на голову. Героиня едет в «странное место», где воспитатель любит и понимает своих воспитанников, а дети, в свою очередь, полностью доверяют воспитателю, где повариха любит свою работу и тех, кого она кормит, где гостям даруют любовь, и теплые валенки, и новое понимание жизни. И церковь стоит именно на том месте, где должна стоять.

Как редко попадаются нашим детям такие воспитатели! И как хорошо, что они все-таки существуют.

И вот на всем этом чудесном, почти сказочном фоне появляется классификация людей по цветам: красные, оранжевые, зеленые. И уже кажется, ну как же так, где же непрерывность мира? Вот уже нас и разделили по группам, классам и подразделам. Но на самом деле никто нас не разделял, это ограничение и классификация – просто урок, который в такой форме гораздо легче усвоить тем, кто никогда не сталкивался с непрерывностью Вселенной. «Раз ступенька, два ступенька – будет лесенка...». И эта лесенка поднимает героиню настолько, что у нее получается встать над собственной жизненной ситуацией и простить тех, кого не удавалось простить раньше. А ведь это – самое главное.

«...Блекло-сиреневый снежок-время приглушил звуки вселенной и медленно растянул свой шатер над округой, занял видимое пространство зимы. От глубин его огромного купола то ли лампочки, то ли звезды пронизали неплотную темноту пунктирами лучей. Потерявшей слух Алене показалось вдруг, что именно от этой площадки, от центра ее, как от завязи всех времен, и ведут пути-дороги в прошлое и будущее веков. Дороги расходились в разные стороны, прорастали из завязи, и тянулись вдаль, а там, вдали, по горизонту едва угадывались храмы, или Алене казалось так. Она поднесла ладони к ушам, на миг прикрыла глаза...»

Третья повесть «Марфа», по которой и назван весь триптих, помещает нас в мир переплетения реальности и сказки. Даже интонации здесь сказочные: «Но не все стрелы стремительны, иные и плавны, и неторопливы, но они также не минуют цели».

Через случаи, рассказы, притчи, побасенки автор показывает нам одухотворенную семейную жизнь – и она прекрасна. Муж дает потенциал, а жена осуществляет реализацию этого потенциала. Она варит бульон, печет печенье, стирает и гладит – и все это наполнено огромной глубины духовностью. Это тоже урок для нас, но урок другого типа, не такой, как в «Арбузе». Это урок жизни в гармонии с собой, близкими и Вселенной:

«Если держишь в руках пряжу, если пропускаешь ее, несобранную, покаявающую и непослушную, свиваешь, перекручивая многократно, стягиваешь, выравнивая на катушке, кажется, иного мира не существует. Чудо творится в твоих руках, и даже если ты чувствуешь себя усталым, это чудо сотворения нового послушно тебе. А нить пусть себе пропадает где-то в глубинах мотка, чтобы потом твои же руки извлекли ее из темной общности и сделали частью огромного полотна. Где именно в этом полотне разместится малая частица, не так уж важно».

Вся атмосфера повести необычна – она колеблется, переливается, она наполнена светом, цветом, радостью. Опять логика и интуитивность, реальность и мистика – одно в другом, одно, переходящее в другое, но тут еще и мистика, облеченная в сказки, – детский вариант. Папа-сказочник и мама-фея – воплощенная детская мечта. Хорошо быть ребенком в такой семье, но не просто. Вон как высока планка, вон как мама с папой разговаривают:

«Самооценка, Марфуш, ничего не стоит в современном понимании, потому что она утверждение: „Я стою дорого“. И все бы ничего, но второй фразой в этом утверждении – „А ты стоишь меньше меня“. Есть самоуважение. Это значит – „я не могу себе позволить“. Ты при детях ругаться не стала, значит, уважаешь и детей, и себя. А самооценка современная, это совсем другое, знаешь что? Она – „да кто ты такой?“, вся от амбиций по происхождению. Пусть бы она уже обрушилась окончательно».

В «Марфе» есть непрерывность мира, как в «Небе». В «Марфе» есть также и дидактика, как в «Арбузе», но она спрятана в кружевах – занавеска, органза. Получается обрамление, а это – классика. «Марфа» соединяет в себе качества, присущие и первой, и второй повестям, и как центр представляет гармонию правой и левой сторон.

Последняя фраза книги: «Если повел ты свой рассказ, подари людям надежду, и будешь знать, зачем живешь».

Анна Гайкалова знает, зачем живет, и ее книги всегда дарят нам надежду.

Потому что без надежды – как жить?

Лея Халанай

От автора

Отрывки из этой книги, пока она складывалась, я показывала многим. Одни радовались содержанию, другие резко отметили не только ценность, но даже правомочность этого текста и ругали меня. Порой вокруг книги, особенно – вокруг «Разбитого Арбуза» разгорались нешуточные страсти! Но каждое новое мнение, даже самое возмущенное, только помогало мне искать более точные формулировки, более подходящие примеры. И сейчас, когда книга написана, я благодарна всем, кто читал ее полностью или частично, кто принимал ее или отвергал.

Елена Томлянович, Степан Томлянович, Людмила Фролова, Маргоша Нейман, Рена Афанасьева, Людмила Третьякова, Юрий Третьяков, Наталья Василькова, Наталья Родивилова, Ида Михайлова, Евгения Жмурко, Надежда Давыдова, Мария Давыдова – за каждое высказанное мнение, даже самое резкое или насмешливое – благодарю и прошу прощения у тех, кого здесь не назвала.

Иссэт Котельникова – за «теорию развития души» – благодарю.

Мария Максимова, Юлия Голомазова, Лея Халанай, Мария Давыдова – за помощь в корректорской и редакторской правке – благодарю.

Делясь со мной вашими взглядами и убеждениями, вы помогли этой книге появиться на свет, а мне – укрепиться в своем решении ее издать.

А. Гайкалова

Нам легко слушать небо

Повесть первая

Спасибо тебе, Господи, что ты меня так устроил. Мне не сложно привыкать к любым условиям жизни, Ты научил меня находить радость в каждой крохе.

Шесть часов дороги машиной, несколько минут отрешенного смотрения на разбитые окна чердака, через которые снуют изящные ласточки, вид перекошенных стен дома, что все еще держится ради своих нерадивых хозяев... И вот уже какая-то особенная тишина снисходит в душу. И тут же, еще не вступив за порог, я ловлю свои случайные мысли: а может быть, мне не только июль провести тут, может, захватить август?

А ведь только вчера в эту разруху не хотела ехать.

Но так часто бывает, что, вынужденная подчиниться, я вдруг обретаю радость.

Осмотрев цветущую кремовыми венчиками огромную липу, вхожу в первую дверь. Она на уровне земли, а за ней лестница вверх. Сруб дома поднят. Как на сваях, он стоит на шести валунах, подальше от сырости здешней земли.

Дверь с улицы – из тонких досок, вторая, что выше, крепче, а главная, через сени, ведет в комнату с печкой. Она обложена ватой и обита тряпьем для тепла. От прежних хозяев осталась черная икона, что темнеет над дверью, и ее уже не отчистить. Мы было сначала пытались, но решили, что лучше оставить как есть. Уж очень она хрупка, страшно испортить.

Сразу улавливаю здешние ритмы. Неожиданно я начинаю даже думать стихами, и сейчас они словно постучались изнутри, но отступили. Все равно придут, тогда можно их записывать, а можно просто говорить ими. Или ими думать.

Вот так оно и будет перетекать, словно пряжа из руки в руку, словно радужная игрушечная пружинка малыша, словно содержимое песочных часов – размеренных, но скоротечных. Перестраиваюсь послушно, уже и думаю иначе. О том же, но на другой мотив.

Гигантских размеров паук невозмутимо покачивается перед входом: откуда вы, незваные? В свой мир я не приглашал.

Но мы идем мимо, муж тащит огромные пакеты с поклажей, а мои поноски не крупнее пуделиных – я по этим разломанным ступеням даже с пустыми руками поднимаюсь осторожно, словно таясь. Уж очень все хлипкое, хрупкое, как истонченные косточки кого-то, отдавшего Богу душу столетия назад.

Этот дом – прикосновение к бывшему, которое уже почти неосяземо, но почему-то продолжает жить и посылать свои вести тем, кто дерзнет побыть рядом, прикоснуться, припасть.

Вот оно, нутро дома. Снимаем с рук главную поклажу — огромного городского кота, и он немедленно вспоминает свое прошлогоднее блаженство. Породистый хвост вздымается опахалом, и новый пуховый обитатель в один прыжок преодолевает то самое пространство, где я, не имея удали бродить по местным просторам, буду медленно кружить весь следующий месяц. Боевой клич домашнего любимца звучит как «муррра – ваша жизнь», да так в городе и переводится, но тут, несомненно, исполняется иначе.

«Миррррр, – воркует кот. Он и так размером с двух крупных котов, а тут еще больше увеличивается, растет на глазах, пропуская врачующий воздух деревни через каждую шерстинку. – Миррррр вам, верррррные мои слуги. Вы сумели угодить своему властелину!»

Непостижимо, отчего ему, не ведающему свободы, так нравится здешняя жизнь.

Комната загромождена нашим скарбом, мы выходим на улицу и вдыхаем аромат вечерней липы и густой запах молока, наплывающий плотными волнами со стороны фермы.

И как будто бы не было ни печали, ни лени трогаться с места. Очарованный край забирает внимание, обращает к себе и веру, и душу, и сердце.

Но надо разбирать вещи.

Возвращаемся в дом, я слушаю, как скрипят ступени, каждая что-то рассказывает, у каждой свой голос.

– Ах, некоторые вовсе не против, чтобы по ним походили ногами, – смущается первая.

– Разве это тяжесть, ощутить чье-то тело, если ты изнемогаешь от одиночества? – размышляет вторая.

– Я еще крепка, мой голос самый звонкий, но и самый глубокий, – кокетничает третья.

– Нас скоро сожгут? – тревожно бьет чечетку четвертая.

– Я помню руки огня, не бойся, это вовсе не страшно, – утешает ее пятая и добавляет: – Да и не так уж скоро, видишь, они снова приехали жить.

– Кроме огня есть и другие обращения, и мы перейдем своими путями во что-то новое, что сейчас от нас скрыто, – немного нудно философствует шестая.

– Ах, это еще далеко за горами, – беззаботно радуется седьмая, – вот увидите, никакой конец света нам не грозит!

– Разговорились, болтушки, – шутливо журит их восьмая, самая главная, потому что она не просто ступень, но и пол перед дверью в сени. – То-то я уже подзабыла, как звучат ваши голоса...

Восемь ступенек в дом. Несчетное количество раз мы шагаем по ним туда и обратно за этот вечер. Дом постанывает, кажется, даже стены расходились, не особенно прислонившись. С радостью подставляет себя под банки и ведра больше ни на что не годная печка. Прокашливается старый шланг, по которому только что погруженный в колодец насос гонит в дом воду, ведра наполняются живой водой и туда сразу же погружается блаженная физиономия кота.

«Пьющая кошка воды не оскверняет», – я помню, от кого эту мудрость слышала. Так говорил один человек, любитель кошек и монастырей. Люблю людей, у которых истории есть истории на любой случай.

Кап-кап-кап – оживает рукомойник, с трудом вставляются сетки в кривые оконные рамы, выпадает с чердака на пол через щели в потолке песчаный дождь.

Под домом квакают лягушки. Мелкие мошки ползут по стенам, причитает закатная птица. А мы обустраиваем свой уют.

Но вот наступает долгожданный отдых. Вещи разобраны, кое-какой порядок устроен, и можно спокойно плыть в завтра. Уже ночь.

У меня в изголовье – открытое настежь окно, через него струится запах молока и меда. А внутри, в душе, как половицы этого дома, что-то поскрипывает, щелкает, а потом затихает, прислушивается. Может быть, тут и есть мне уготованная, моя обетованная земля?

Я думаю о том, что большой город лишает нас чего-то тайного, утробного, какого-то главного послания от бытия.

«Вам не прикоснуться к нашим секретам, – кажется, слышу я голос невидимой стражи этого края. – Вы произносите слова, но под защитой шума не узнаете их смыслов. В ваших больших городах не постичь ни глубин, ни значений, даже догадки не смогут озарить надежную тьму ваших убежищ, если вы забыли о хрупкости ваших тел и о том, что вы смертны».

– Какая благодать, – шепчет муж, засыпая. Это скорее вздох, чем слова, и я молча киваю ему в ответ.

Вспоминаю.

– Мы проехали с тобой триста верст, так мало для нашей страны. А бывают страны такие по размеру...

Он нигде больше за всю жизнь не был.

Уплывая, мы прикасаемся к тайне. Слово мы – одинокие странники океана, под которыми всего-то лишь есть, что хрупкий плот из ветвей.

И начинается время, только времени – всего один день. Назавтра хлынут дети, наедут, навезут малышей. Пару часов с утра – и глаза присмотрелись, вот уже закипели кастрюли на плите, отправилась на перебив после годовой спячки посуда, все розетки в доме перестали пустовать и включились в дела.

Во дворе пока и присесть негде. Трава стоит по грудь, кругом крапива. Ворота хозяйственной части дома не открыть – просела стена, ушла в землю. Вот настанет следующий день, добавится мужских рук – и каково им придется?

– Кому? Рукам или воротам?

– Воротам, конечно, на руки у нас все мастера!

– Откопаем!

Время здесь привыкло жить иначе. Оно медленное, но утекает, как сквозь сито. Только поднялись, а уже пять часов. Разве что пройти по дороге чуть вверх, оттуда видна большая река. Если вниз спуститься, тоже река откроется, скромная, притоком. В других краях и она показалась бы широкой. Но когда до нее дойдешь, если завтра дети.

Муж тянет шнуры и шланги, роняет старую залежь, и она катится и скачет по сеним. Хожу как цапля, огибая и перешагивая. Посмеиваюсь. Ну и хлама тут, и когда собрали. Немыслимо.

Я бы оставила пятую часть. Но уже научилась: выбрасывать мужнино нельзя. Только выброшу что-то, как он тут же ищет. Как будто кто-то включает сигнал «тебе это нужно немедленно». И он тут как тут. Не находит. Приходит спросить. Мне, конечно, остается отвечать. Говорю правду, а в ответ одно огорчение. Прислушалась к себе раз, второй, что чувствую? И выбрала зарастать хламом. Пусть муж не волнуется.

К вечеру дом наполнен запахами жизни. Смотрю в зеркало на женщину в пестром. Она улыбается одними глазами. Что-то знает об этом разрушенном доме, о хозяевах его и о тех, кто завтра его заполнит. И знание это ей нравится.

А на небе луна чуть с ущербом. Еще крупная, красноватая. Целый месяц нам тут быть, за луной послеживать.

И за солнышком.

Говорят, в этих краях жил давным-давно один Старец. О нем ничего не знали – ни откуда родом, ни с каких годин он тут поселился. Древний был совсем, ходил согнувшись. Впрочем, эта земля к старости гнет, тут немало можно увидеть тех, чьи спины над землей стелются.

Поначалу пытались к Старцу наведываться – совета спросить, наставления, кто за чем. Домик его маленький стоял у леса по ту сторону большой реки, рядом с болотами, где много клюквы. Местные за дымком его трубы поглядывали. Вьется дымок – и спокойней у людей на душе.

Дом, говорят, у него был – одно слово, иной сарай крупней. Кто к нему добирался, он выходил встречать, внутрь не впускал никого, садился на лавку у дома, смотрел. Кому велит: «Говори, зачем пришел», а кому наоборот: «Молчи». Посмотрит и сам скажет что-нибудь. Но и тех, с кем он разговаривал, все равно от себя отживал. Так ответит да пригрозит, что тот потом кого ни встретит по дороге, идти к Старцу отговаривает. Неласковым к пришедшим Старец был, иначе не скажешь.

Зато когда по земле ходил, до сих пор говорят, не мят травы. Вот что он ни скажи, а люди всегда смотрели вслед, как замороженные. Старец движется, а трава как стояла, так и стоит. Поневоле забудешься.

Я вот в этом месте, кому ни возьмусь рассказывать, всегда думаю: сколько тысяч за мной по земле следов?

Было у Старца имя, потом-то и деревни в округе тоже стали зваться подобно – приставляли люди в названьях к имени Старца где суффикс, где окончание. Вот и наша деревенька в его честь названа.

Про дела Старца местные до сих пор рассказывать любят, важничают: был ли он пришлый, нет ли, все равно им родня. Он землю благословил, он на ней дух свой оставил. Пророческий. Вот пойдешь в село, посмотришь, а люди идут, родством гордятся.

– Завтра дети к скольким приедут?

– К полудню.

– Как бы успеть?

Надо все же спуститься и посмотреть на звезды. Их тут россыпи.

Вот она, земля благословенная. Приедет кто-нибудь вроде по воле случая, а глядишь – тут уже задумывается, как бы подольше остаться здесь. Даже если человек никогда в деревнях не жил. Земля проникает в душу, заставляет ее снизить голос, смириться, попросить пристанища. И возрасти. Будто осчастливить собой.

Может быть, у пришлых просыпается память надежности крепкого сруба, древнее знание причастности, родства с этим диким простором – неохватным и нежилым. А может быть, тут вершится бесконечное таинство венчания человека с плодоносной землей, но Исая все еще ждет, когда же его окликнут и призовут к ликованию.

Люди не спешат покидать эти края и, уезжая, обещают вернуться, все назад оборачиваются. Ну а держат они потом слово или нет, это кому как доведется. У кого глубоко в душу упало зернышко памяти, те, конечно же, возвращаются.

Широко раскиданные деревеньки вместе с природой умирают по зимам, редким огоньком перебросятся со светом звезд чья-то одинокая изба. Но едва омоют землю талые воды, едва сделает свой первый вздох новая весна, как тут же и попросит своих убранств, и тусклый бисер оставленных домов начнет снова сверкать ожерельями оживших деревень.

Земля украшает себя людским трудом, призывает к себе человеческие силы. Жизнь возвращается, поворачивая колесо сезонов, и детские голоса вновь посылают свою уверенность небу, покрикивая и смеясь в его бесконечность.

Здесь воздух медленный и волнистый, он движется, словно вода в русле огромной реки, что идет по холмам, не скрывая себя от человеческих глаз. Совсем немного времени – и вот уже суетливая походка горожанина исполняется степенности, а глаза его наполняются глубиной и тайной, переставая привычно отбрасывать мир так, словно он бесполезно путается у него под ногами.

Днем, насколько хватает взгляда, – поля. Далеко друг от друга выются неровные дороги, по которым не стоит бродить в темноте. Черные и белые птицы встречаются в небе в полдень, и люди растирают затекшие шеи, пытаясь предугадать значения их стремительных танцев.

Я подумала о своем друге и поняла, почему он не любит разговоров о царях. Он просто не помнит себя царем, вот и мнится ему, что нет правды в моих рассказах.

«Приезжай в эти края! – говорю я своему другу мысленно. – Я верю, твои взгляды изменятся, едва дух этой земли проникнет в тебя. Ты ощутишь свою царственную малость, ведь только истинный царь помнит, что он всего лишь длань высшего. Ты прикоснешься сердцем к тому, в чем подлинное величие, ты по-другому услышишь мои слова. Здесь познаются вечность и право, эта земля наделит тебя нужностью, о которой ты совсем забыл.

Человек не сможет больше ценить себя малой мерой, познав этот мощный зов. «Ты нужен мне», – огромно вздохнет тебе навстречу благословенная земля. Ты увидишь ее простертость, ты узнаешь себя в ее предпочтении. И заговоришь со мной о Царе».

Так разговариваю я с далеким другом и смотрю на звезды, считаю их, вспоминая, что когда-то верила, будто сосчитала все.

Наутро радость: вчера я все успела. Иду посмотреть поле, как оно, меня помнит? Вон отсюда виден берег, где стоял дом Старца. Там и сейчас что-то есть, не дом, нет, а что-то. Люди к этому месту близко не подходят, одни боятся, другие, которые живут без страха, не знают, как пройти.

Болота тут расправленные, густые, сочные. Даже зная тропу, не всякий уцелеет. Местные не рискуют, Старец и прежде не любил непрошенных гостей, а пришлые да заезжие, кто пробо-вал, тот плутал, сам не рад делался. Даже если потом в печали, все равно больше уж не дерзал. А печали ей что, только дай поселиться.

Я помню, как говорил о своих картинах художник, как, не смолкая, читал стихи поэт. Так раб беспрестанно толкует о рабстве, и сетуют на несчастья несчастливцы. Разве ты убедишь поэта, что его строки не есть соль земли?

– А я умею стихи складывать! Я их много сложил!

– Молодец! – я глажу по голове рыжего мальчонку и думаю, какую службу сослужит ему это умение, но сначала все равно разобьет его сердце.

Царь говорит о своем царстве, видишь, я снова возвращаюсь к Царю. Ты все еще хочешь повторять, что ты – невезучий раб?

Я то к одному другу обращаюсь, а то к другому. В городе я оставила за собой многих, еще больше в стране. И не счесть – в мире.

Тут я могу позвать любого, заговорю – и откликаются все.

Так бывает, подойдешь и встанешь плечом к плечу. И в мыслях я так подхожу. А потом получаю от них письма. Или во снах вижу.

В деревнях спиваются мужики, об этом толкуют повсюду, и да, вот они снова пьяны и, шатаясь, с повисшими руками бредут к дому. Маленький мальчик-поэт хмурит брови, глядя вслед мужикам, но его окликают и он бежит к другим детям, сыновьям тех, порожних. Когда-нибудь он напишет стихи об этом крае, о мужиках с огромными ладонями незанятых рук. Мужиков убедили, что от них ничего не зависит, они утратили веру в свою принадлежность. Нужно ли умереть их земле, чтобы снова начаться для них?

Я не верю в единственное рождение. Того, с чем иные приходят в мир, не собрать и за несколько воплощений. Разве немые молчат из-за внутренней пустоты? Заглянешь в глаза молчуну и увидишь тома его жизненных накоплений. Да и священные книги рассказывают о многих рождениях, стоит ли верить в то, что однажды решили люди?

Только человек приложил к прочтению свой ум, как истина искривилась под давлением его взгляда. Потому я беру от многих учений, но полностью не следую ни одному. Только заповеди для меня безусловны, остальное лишь поле для размышлений.

Но если мой закон верен, то тогда эти пьющие мужики все же более оправданы в глазах неба, чем те, кто разучился плакать.

Они приехали, и дом узнал, что жив, хоть и думал, что уже нет. Мы с ним вместе думали это.

Вот кто-то из младших запрыгал и все закачалось, того и гляди улетит.

– Не прыгай по полу, в этом доме прыгать нельзя!

– Почему?

– Он может сломаться.

– Дом? Сломаться? Ты все врешь!

– Так нельзя говорить старшим.

– Дома не ломаются, дома не ломаются! Никогда!

Трактор привез что-то мощное – шесть крупных плоских колес между ржавыми балками. Устройство отстегнули и поставили вдоль забора напротив. Рыжая, изъеденная конструкция

ползабора заняла. Рядом еще одна – поменьше. Тоже замысловатая. Трактор рядом, тракторист приехал к матери на обед.

– Это железное чудище, оно кто?

– Малая – ваялка. Она идет по земле и траву скошенную на один бок сваливает. А большая, да бог ее знает, какое название у нее. Траву она катает.

Пока рассказывают, иду вниз, за дом. Раньше, при прежних хозяевах, там был сад. Теперь осталась согнутая двурогая вишня, у которой сбило грозой верхушку, немного малиновых кустов в зарослях крапивы, широкий куст черноплодной рябины да еще пара корявых деревьев неизвестной породы. Я предлагала мужу их убрать, а он нет. Бережет.

Стою на цыпочках, иначе не видно, смотрю через реку. Вдруг кажется, Старец с того берега машет мне. Увидел, что я заметила, руку поднял, погрозил: «Иди в дом!» И пропал.

Щурюсь на яркий свет, повожу глазами от края до края. И лезу в сарай. Там короткая табуретка с подломанной ножкой. Пыль стряхнула, несусь.

А в дверях все столпились, смеются, руками машут. Еле прошла.

Ставлю табуретку к окну и зову ту, что прыгала. Говорю: «Залезай, радость моя».

Кот забрался на самый высокий шкаф, свесил морду и хвост, широко развернул розовую лапу и покачивает ею. Недоумевают.

– Кот сверху воздух портит!

– Иди-иди, оставь его! Видишь, вон там, вдалеке, стадо?

– Где?

– Да во-он там!

– Ой, коровы! Живые коровы! – и на табуретке подпрыгивает. Тут же треск – и она на полу, ножка от табуретки отвалилась, сиденье на ребро.

– Старая табуретка, вот и сломалась. Твой папа говорил правду, этот дом такой же.

Сидит на полу, ножки в стороны, рядом обломки. Смотрит на меня. В глазах – небо.

Я люблю их кормить. Люблю видеть довольные лица. Едят и даже глаза прикрывают, так вкусно. Наверно, это вода. Тут в колодце такая вода, что ни свари – праздник. Набегались, наелись, теперь отдыхают – средние и маленькие.

Старшие пришли.

– А ты отдыхать будешь?

– А я не устала.

– Тогда расскажи?

Просят, и вот я думаю: о чем рассказывать? Дневные истории и те, что к ночи, друг от друга сильно отличаются.

– Хотите, я расскажу вам о молитве? Мне известны ее секреты, я знаю, как может она свиваться, вытягивая, вынимая сердце, так что его не остается, словно все оно устремляется ввысь.

– О молитве так о молитве, – и разлеглись.

А я этим пользуюсь.

– Начинаешь молиться и чувствуешь, что сердце прикоснулось к приятию и вернулось обратно, наполненное, вновь готовое отдавать.

– К приятию – это как?

– Ты кричишь, а тебя не слышат или слышат, но не отвечают. Значит, там приятия нет, там планы с твоими идут вразрез. А тут по-другому, тут слышится и ответ возвращается.

Когда мы смотрим на людские беды и прижимаем к груди руки, то, кажется, чувствуем сердце – бывает, оно так и рвется, хочет взлететь.

– И взлетает?

– По-разному. Над городом плотная пелена дыма, собранного из скоростей. Тот, кто молится в городе, тот знает, как, пробивая гарь, его молитва восходит. Молитве нет другого пути, как только стремиться вверх

лучом, пропарывая собой непрозрачный слой взлетевших в воздух отходов человеческих дел.

Люди кишат мыслями и свивают над городом плотные сети своих намерений и устремлений. Но бескорыстная молитва сильнее этих пут. И вот уже мы слышим неведомый отзвук, знаем: молитва ушла туда, где туч больше нет.

– Неужели и правда есть разница? Почему?

– Здесь, на бескрайних землях, небеса чисты, потому что под ними не роятся люди. И если поднять глаза к небу и обратиться с молитвой городской силы, то с изумлением увидишь, как, вновь отняв твое сердце, едва покинув тебя, молитва растворяется невысоко. Образуется она не лучом, что стремится пробить броню этой вознесенной суеты, а стелется над землей, едва приподнявшись над ней.

– Ты специально так говоришь, чтобы мы сегодня больше не ушли?

– Я просто думаю вслух. Какой силы должна быть молитва, чтобы не утратить своего образа, чтобы не стать маленьким облаком, не раствориться легким дыханием среди бескрайности просторов незамутненного неба над этой неизведанной, невзнузданной, не познавшей мужа землей...

– Красиво получается у тебя. Ты молишься так же?

– Я видела во сне Святого этих мест, с ровной спиной он поднимался над полями и реками, над лесами округи, как если бы они были игрушки младенца. И таяла, вилась легким дымком у его ног иступленная молитва горожанина, того, что дерзнул искать заступничества у неба о рассеянных жителях русской земли...

– А я смогу поднять молитву? – один из них.

Тихо под небом, вечер тянет за ниточки песни ночных птиц, запах реки и засыпающего поля. Комары ищут замену ушедшим под крышу людям.

– Бог даст.

С утра хлынул дождь. Годовалый ребенок пухлыми ножками топчет по просевшему полу, а крыша уже протекла, и с печки слышится: «кап, кап» пока еще медленно, неопасно.

В этих местах в июле дожди редки. Потому мы и приезжаем сюда в середине лета, ведь с дырами в крыше, что позже, что раньше, тут никак. Смеемся: сквозь щели нашего дома пространство посылает свои вести, и нам ничто не помеха их принимать. Мы дурные хозяева, или просто живем одним днем, но в каждом дне мы честны и наши плечи не изнывают под ношей.

Нам легко слушать небо.

К полуночи дождь иссякает, и воздух, напоенный свежестью и влагой, струится в открытые окна. Молоко, черника и свежий хлеб, слегка подхваченный на огне. Хорошо понимать, что все свершенное было к благу, все текущее превосходно, а будущее предстоит.

– Ты хочешь богатства? – спросил меня внук.

– Нет, – ответила я и не покривила душой. – Тебе ли не знать, что я умею достигать цели, и провидение помогает мне. Но тут каждый свидетель: ради богатства я не ударила пальцем о палец, не смолчала и не солгала, чтобы сохранить его дары. Я видела своими глазами, что делает богатство с иными людьми, и отвернулась от него. Но я готова трудиться вновь и вновь ради своей цели.

– А какая у тебя цель? – спросил он меня.

И я ответила:

– Быть верной.

Дождь еще шел, и потому вечер тянулся неторопливо. То стайками, то по одному дети все равно выходили под небо и смеялись, пихая ноги в галоши, смягченные байкой внутри.

Я разлила по кружкам холодное молоко и спросила одного не совсем еще взрослого:

– Ты передал мои слова?

– Нет, у меня не было подходящего момента, мы веселились и сбивали дождь с толку!

– Как это было?

– Мы разбивали струи и мешали дождю падать ровно! Да и разговор все время шел о другом.

– Что мешало тебе самому повести разговор, проложить его русло так, как это нужно было тебе?

– Но как я мог это сделать?

– Ты пришел и рассказал, что дождь измочил твои вещи, и ты отнес их в дом на просушку. Не труднее исправить течение разговора, если твой собеседник способен слушать, если он не говорит без умолку, думая, что спасает кого-то от тишины.

– Нет, тот не таков, нам это известно.

– Тогда ты, скорее всего, с моими словами не согласен.

– Отчего не согласен? Я этого не говорил.

– Об этом сказал твой поступок. Я помню, как ты исследовал стремнину, чтобы найти унесенную ею вещь. Ты бросал в нее легкие предметы, и потом следил за их движением. Ты был настойчив, и стремнина сдалась, вернув твою пропажу. Если бы, так же как я, ты хотел, чтобы твой собеседник слышал мои слова, течение разговора подчинилось бы тебе.

– Смотри, – внезапно перебил он меня. – Смотри, как садится солнце! Даже дождь наконец сдался! И крыши домов горят, а земля будто всасывает их внутрь, хочет поглотить! Это не солнце уходит за горизонт, это дома людей обращаются в пламя... Так значит, в твоих словах заключалось это?

– Да, именно это стояло за словами, которые ты должен был передать.

– Помню, это звучало похоже: «Чем ниже ты опустишь свечу, тем длиннее пролягут тени»...

– Да, так. И теперь ты сможешь подчинить течение разговора себе, потому что знаешь, о чем говоришь.

– Прости, я просто тебе не поверил. Но теперь я понял.

– Ты ссорился и раздражался. Тебя съедали подозрения и ты искал, как доказать худшие из них. Наконец ты порвал связи, чтобы больше никто не твердил, что существует другая правда.

Мысленно я снова говорю с другом, который теперь далеко, дальше всех остальных.

– Но вот ты узнал, вспоминаю я, что смертельно болен, и кто-то научил тебя: нужно попросить прощения и самому простить. Ты мучился в приготовлениях, голову твою сжимали спазмы, когда ты представлял себя произносящим «прости».

Заставить звучать слово, порой и это – работа.

Ты торговался и вымаливал разрешение простить, ничего не делая, только представляя себе, что эти слова уже произнесены. Тебе шли на уступки, объясняли: главное, простить в душе, слова не так уж важны. И ты принимал новые условия игры.

Но болезнь ускоряла темп.

– Смотри, какая большая птица! – отвлекают меня от мысленной беседы.

– Это ястреб. Он парит над полем, караулит добычу.

– А сюда прилететь он не может?

– Эти птицы умны и не ссорятся с нами. Они всегда поодаль, но голода нет, и люди не целятся в них, а они не летят к домам.

– Сегодня ласточки низко.

– А знаешь, почему? Из-за мошек. У мошек крылья перед дождем тяжелые, их тянет к земле. Вот ласточки за ними и спускаются ниже.

– Что это у мошек с крыльями?

– Крылья впитывают влагу дождя.

– Так его еще нет!

– Перед приходом он посылает земле свое дыхание, и земля чувствует его будущую влагу.

– Получается, мошки умнее, чем птицы, раз первыми дождь чувствуют.

Да, думаю, но молчу. Порой тех, кто знает, съедают раньше.

И снова в мыслях я остаюсь одна с моим другом. С тем, который ушел дальше всех.

– Кому ты служил? – спрашиваю его я. – Ради чего отказался ты от друзей, во имя какой идеи прошел по головам? Помнишь, как мысленно тебе виделось, будто ты подходишь к тому, с кем в смертельной ссоре? Ты опускаешь свою руку ему на плечо, но лицо у тебя кривится от выброса желчи. «Прости», – говоришь ты хрупкому образу и понимаешь, что хотел бы еще раз убить того, кого представил себе.

Это случилось или там, за спиной, мираж? Ты убедил себя в том, с чем тебе легче жилось. Как признаться себе, что эта кровь, которую ты своими поступками пролил, была в спасенье? Где взять сил, чтобы простить главного обидчика – себя?

Это ад. Тот, другой, ненавидим, но он прощен и оправдан. И только себе ты не в силах простить раздора. Стыд выжигает твои глаза, и они отказываются видеть выход. Разве можно с обожженными глазами стремиться к свету? Нет, а у твоей души не осталось слез.

Они сказали тебе: «Прости себя», и твое горло разучилось глотать. Потому что ты так был воспитан, тебя с детства учили, что говорить о себе плохо – недопустимо.

– Я глупец! – сказал ты однажды и получил пощечину от отца.

– Не смей говорить о себе так! – отец был суров. – В нашем роду все умны!

С тех пор каждый свой шаг ты объяснял именно этим. Ты не слушал ничьих слов, отец оставался главным.

И вот тебе предстояло решить, кому сохранить верность. Но ты умер, потому что не смог выбрать между смертью и смертью.

И теперь, из смерти своей, ты слышишь мои слова. Теперь ты меня слышишь.

Ночью, когда младшие уже давно спят, наши взрослые дети все еще шепчутся, насмешничают, лениво играют друг с другом. Комната одна, но все они там разместились, да вот еще надули матрац, расстелили посредине и не оставили свободного места.

– Как теперь выходить, если что?

– Если что, смело падай.

Хихикают. Их проверяет кот, пересчитывает, все ли на месте. Смеются громче, наверное, кот сбился и пошел по второму кругу.

Зовут меня, скребутся в картонную перегородку. Она до потолка не доходит, чтобы свободно ходило тепло от печки.

– А этот Старец, он правда тут был?

– В каждом месте земли был свой Старец.

– Как везде кто-то родился? Как везде кто-то умер?

Летучие ночи не держатся стаей. Ночь всегда летит в одиночестве, разметая потоки дыханий в ней спящих. Каждое дыхание слышу и различаю.

Один, засыпая:

– Скажи, что важнее любви?

– Мир сердца.

А про Старца я им не случайно сказала. Верю, что так оно и есть на земле. Вот, ходила в соседнюю деревню к травнице, закваску для теста взять, и она мне свою историю рассказывать взялась. И спешила я, а заслушалась. Сидела и думала только, как донести до своих, чтобы капли не расплескать.

Травница эта не здешняя, родилась в сибирской деревне и всю жизнь считала, что потому она особенная.

Она росла тихой девочкой, или такой казалась. Худенький такой мышонок белый, вроде ручной, а вроде некормленный. Родители ее никогда не догадывались, что она снова сделала что-то не так, как хотели они. Потому что дочь всегда говорила: «Да, хорошо» или просто молча кивала, немного улыбаясь. При этом смотрела она спокойно и мягко, никогда не перечила. Вот, никому в голову и не приходило проверить, выполнила ли она родительский наказ.

Хватало родителям хлопот – присматривать за ее старшей сестрой, которая в тринадцать лет вышла замуж за местного тракториста и рожала теперь, как их корова Милка, по разу в год. Травница же все нужные дела по дому делала. А остальное время проводила в лесу или бегала в село помочь старому попу, который все служил свои обедни, а ни матушки, ни дьякона у него не было. И церковка старая стояла, травница объясняла, только на честном слове держась, исключительно ради него, чтобы не огорчать своего служителя перед смертью. Она-то и нашептала, что ненадолго его переживет. Девочка тогда маленькой была и не удивилась, когда голос церкви услышала. А поскольку не напрасно слыла молчаливой, то ни одной душе не рассказала. Привыкла, а потом уж, когда подросла и поняла, что не со всеми церкви говорят, ничего не стала никому передавать, подумала: «Все равно мне никто не поверит».

Священника тамошних мест звали чудным, неудобным для местного звучания именем. Но люди языков не ломали и обращались к нему «батюшка». Был он старше всех в округе, и, так же как тут, никто не знал, сколько ему лет, откуда он родом, да вот еще — с какой стороны принес свое чудное имя.

Другие старики умирали, а он все жил, ходил согбенный, о себе никогда ни слова не сказал, а на людские вопросы отвечал вдумчиво, каждую свою фразу как бы подчеркивая чистым лебединым перышком. Не как суровый местный Старец – сибирский батюшка никого от себя не гнал. Так у него получалось говорить красиво, что заслушаешься, а все уже в голову прямехонько поместилось, рассказывала травница, глядь, пошел от него по домам люд примиренный и радостный.

И тут начинается самое интересное.

Травница говорит, а сама смотрит в сторону: «Я, говорит, как раз в этой церкви первый раз и приподнялась. Сестра моя в ту пору первого уже родила, да повадилась пить самогон со своим трактористом, по дому забросила все дела, поэтому я прибежала к батюшке реже. Но в тот день служили ради Успения Пресвятой Богородицы. Батюшка пел и плакал слезами негорестными, и голос его не дребезжал. Хора не было, он один справлялся. Я безголосая, музыку слышу, но через меня она не струится, помочь поэтому Батюшке я не могла. И когда он запел: «Всякое ныне житейское отложим попечение», тут я и почувствовала, что отделяюсь.

Я сначала испугалась, но быстро пришла в себя, потому что приподнялась совсем немного, да так осталась: ни вверх, ни вниз. В церкви никого, Батюшка ко мне спиной, но словно почувствовал, повернулся, ахнул и рот рукой накрыл. А потом упал на колени и дальше молился не по чину, а как Бог на душу положил. Я же не помнила, как опустилась на землю, тоже прямиком на колени, да так до конца службы и не поднималась».

Рассказывала мне эта травница потом, как после всего сидели они с батюшкой на улице под окнами алтаря. Там два камня, как раз чтобы присесть, но через них доска в три пальца, чтобы камни тепло из тела не высасывали. И сказал ей батюшка тогда две вещи. Первая, что раз сподобился чудо видеть, значит, срок его настал, и что чудом сим его поманил Создатель, чтобы в последний час не было у него сомнений, как это случается со смертными. А второе сказал, что

ей, травнице, обычной жизнью не жить, а если не послушает, то все равно в деревню вернется, потому что место ее у Божьего храма. А потом спросил: как это, когда земли не чувствуешь? Она и сказала: «Обычно, ничего особенного».

...Говорит она так, говорит, и не перебеешь. А потом прерывает свой рассказ и меня спрашивает:

– Да тебе идти надо?

Я только кивнула.

– Ну, ты приходи еще и за какой травой тебе понадобится, а я дальше расскажу. Тебе-то моя история в самый раз. Да смотри, и правда иди. Вон, вороны, гляди, взъерошились, крылья свесили.

– И что?

– К дождю. Гляди, вымокнешь.

Когда на эти земли приходят дожди, они теряются в междуречье и в поисках выхода неделями бродят по кругу. Колесят, подпитывая свои тучи от обилия местных вод. Тогда высокие травы от рассвета до заката дрожат россыпью влаги, а солнце проглядывает и, торопясь, успевает все же пометить каждую каплю искрами драгоценных сияний.

Тут жизнь нетороплива, но течение ее перерывов не знает. И вот мужчины косят траву, и многоцветные слезы неба, распадаясь на стрелы радуг, взлетают в воздух. Готовят угощение женщины, а дети ликуют и утверждают жизнь, даже когда огорчаются и внезапно плачут.

Но сегодня в поле никак не хотело пастись коровье стадо. Сбивалось в кучу, напрасно пастух щелкал хлыстом. Голосили овцы, смешили людей. А потом не на шутку разгулялась гроза, тучи лиловыми подушками напозли из-за дальнего леса, раскатились к краям реки, и река, как огромное темное ложе, загордилась охватом. Небо зависло низко, хлынул ливень, молнии остудили теплый свет дня, холодными стрелами забили в берега. Ну и июль!

Мой взгляд обошел всех, кто собрался под хлипкой крышей нашей лачуги. Как много людей она укрыла сегодня собой – молодых, крепких, новых. Мне вспомнились их пути и пороги, и сердце мое согрелось. Сейчас они вершили свой труд, чтобы затем устроить отдых.

Мысль о неслучайности коснулась меня, но подошел один и попросил историй.

– А бывает что-то на свете, о чем думают все люди?

– Хочешь, я расскажу тебе о главном поиске человека?

Он кивнул, устроился поудобней, разошелся взглядом, чтобы лучше слышать.

– Хорошо ты спросил. К слову, если встретишь того, кто говорит, что больше не ищет ответов, знай: это он от себя отмахнулся.

Начинаю говорить и слышу, что ритмы подступают. То ли говоришь, то ли поешь. То ли просто так дышишь...

Жил-был человек. Жил он в любом месте земли, а был еще молод. И так же, как и все живущие на Земле люди, он искал, в чем ему отразиться. Зеркала не насыщают людей, люди вечно стремятся найти свое отражение в чем-то еще. В чем-то, что честнее зеркал.

Сначала человек отражался в лужах и окнах домов, в детских игрушках и чашках с парным молоком. Он отражался в глазах родных людей и верил, что мир так же добр. Потом он подрос и отразился в прощании. Человеку прощаться было легко, молодость не боится утрат, вот так он покинул свой дом и вскоре отразился в выборе пути. Это было так странно – отражаться в выборе, и, дерзая, человек отразился в первом успехе.

Это вышло прекрасно, почувствовать себя так, словно ты – успех. Человек захотел, чтобы чувство продлилось, он стал стремиться успех повторить. И какое-то время так было. Но внезапно человек отразился в провале. И был потрясен.

Так неожиданно – осознать, что ты – провал. Человек растерялся, потратил время, отразился в смятении, а затем в борьбе и в дороге. Это очень тревожно – считать, что ты и есть тропа. Но тропа всегда стремится прийти. И вот человек отразился в новых краях.

Едва он подумал, что его отражение крупнее многих, как снова случилась с ним перемена: человек отразился в любимой.

Это было как чудо – отражаться в любви. «Я любовь», – говорил человек, но только он в это поверил, как отразился в измене.

Горе слепит – какое-то время человек жил так, словно он перестал отражаться. Спросили бы человека тогда, жил ли он, и вряд ли бы получили понятный ответ, но работа шла, и вновь человек отразился в удаче. Опять замелькала череда отражений, и с каждым новым человек менялся, потому что менялось то, в чем он отражался в тот час.

За долгую жизнь человек перепробовал множество ликов. Он отражался в страсти и в насыщении, в подражании и бунте, в детях, в друзьях, в труде. Он научился видеть себя сразу во многих вещах, чтобы жизнь казалась полнее. Разные он заклеил отраженья, в некоторых задержался на время. Он отразился в своих вещах, в накоплении и богатстве, и оно нашептало ему, что он, как богатство, огромен.

Это так удивительно щедро – отражаться в довольстве, человек отраженья устроил и даже удесятерил. Он гляделся в себя в продуманных планах, в вещах и достатке чудесных форм.

Так длилось и длилось, но что-то встало помехой, и человек словно разучился чувствовать себя счастливым. Куда ни глянь – он отражался повсюду, но мира не знала душа. Он отразился в раздумьях, сомненьях и скрытых вздохах.

И однажды под вечер человек на дорогу вышел, он свои отраженья оставил впервые, и под небом пошел без лица. Впервые увидел он старцев, увидел он слезы женщин, услышал, как дети смеются – просто радостно, без затей. Увидел он старую лошадь, увидел черную кошку, увидел чужую собаку, потерянного ребенка и чей-то сгоревший дом.

Тогда человек понял что-то без слов и названий, и замер на миг человек. Он поднял глаза к небу, хотел он спросить небо, в чем же ему отражаться, чтобы счастливо жить на земле. И вдруг он увидел, что сверху, оттуда, где есть ответы, глядит на него с улыбкой... родное его лицо.

Так стал человек счастливым, узнав под конец жизни единственное отражение, в котором и цель, и смысл.

Они захотели мяса, взяли мангал, вышли на улицу и стали просить: «Отступи, дождь!»

Незаметно я к ним присоединилась и тоже стала просить неслышно: «Отступи, дай молодым испечь мяса»...

Мангал разошелся, хорошо, много угля. Женщины нанизывают куски мяса на шампуры, режут овощи, моют зелень.

– Хлеба, хлеба прожарь на вилке!

– Несите соль, чтобы макать в нее перья лука!

– А что, если в эти угли – картошку?

Нет дождя, комары не проснулись, не знают, что можно на вылет. Тишина, небо серо, а мясо с подугленными краями сочится.

Щеки у всех пылают. Можно немного вина. Или что там сегодня у молодых к мясу?

Хрустит хлеб, картошку едим с золой, и это волшебное.

– Добрый вечер, соседи! Смотрим на вас – что молодежь-то по деревням? Им бы в Европы.

Приглашаем к столу.

– Почему нам в Европы? – смеются, жуют. Запивают.

– Да там на каждом углу сто впечатлений, все вместе как ком. А тут что?

– А тут ти-ши-на.

– Тут легче дышать, все по капельке...

– То, что тут, – навсегда.

У каждой травинки спросить совета, набраться мудрости у капель росы. Познать тайнопись облаков, узнать на вкус мысли реки. Заглянуть в свою душу, которая больше не просит мяса. Да вот еще сходить к травнице за рассказом. Как это она отделилась, как приподнялась – чудеса! Узнать что-нибудь еще и о другом Старце.

И грянула буря, отличился июль.

Захлопали рамы окон, стекла задребезжали, зубами залязгала крыша. Кое-где в домах погасили свет, а для тех, кто не испугался грозы, готовился сюрприз.

Электричество отключилось. В этих краях необъятных просторов, если уж и случаются бури, то кто-то заботливо отключает людей от мира, чтобы не стало хуже, чтобы вдруг не пожар.

Едва было начавший остывать дом с захлопнутыми окнами обогрелся и защелкал нутром старых стен под дождем, как пластмассовыми погремушками на люльке младенца. Что случилось с толстыми бревнами старого сруба, где они научились так петь?

– Эти бревна – как старые кости, их изъело время.

Кот, пугливый в городе, развалился на подоконнике и, не обращая внимания на грохот неба и дрожь окон, углубился в раздумья о гнездах птиц, что грозили слететь с деревьев.

Старый ухват загремел в углу, пополз, стремясь улечься под лавку и затаиться до тихой погоды, но его поймали и водрузили на место. Место ему – подпирать кривую полку кривой стены. Удобная штука.

В сумерках без света в бушующую непогоду думается легко. Веки тяжелеют, как обреченные не моргать, и кажется, будто настало время молитвы, а в окнах вот-вот пролетит нечисть. Так сильно крутит деревья, так зримо дрожат заборы, так шумно там, за окном.

Укладываюсь и думаю, как это прекрасно, когда ты спрятан надежно, пусть даже надежность – миф. Вот так в непогоду к мифам склоняюсь я незаметно, и, в плену иллюзий, начинаю дремать.

Вокруг боятся большие дети. Скрывая свой страх от малых, говорят о конце света. Велю всем спать: это радость, когда засыпаешь ты в доме, а за стеной ураган.

Кот медленно отрывается от окна и приходит ко мне в ноги. Нам так хорошо, и мы греем друг друга. Я думаю: чем сильнее гремит буря, тем спокойнее мне на душе.

С дарами пришли соседи, позвали во двор. Спускаюсь, благодарю. Теперь перевозной магазин, который скоро загудит на всю деревню, оповещая о себе, нам не нужен – у нас есть все.

Погода – как будто округа и не мрачнела. Светит солнце, и дети снова заполнили выкошенный луг. В борьбе они делят поле между собой, и матери кричат им из окон.

– Почему женщина из того красивого дома так груба? – слышу вопрос. – У них на участке все красиво, есть и качели, и беседка, и чудесный гамак, но нет у них мира. Отчего они ссорятся между собой?

– У этой женщины мать в инвалидной коляске, и вот они возят ее с собой, а она стонет, не узнает домочадцев, и из горла ее выходят звуки, подобные звериным. Две дочери у этой женщины – одна умна и здорова, но холодна. Она уехала далеко, не нужна ей больная старуха и к измученной матери у нее жалости нет. Ее растили в свободе, и вот она повзрослела и стала свободной. И муж из-за этой свободы оставил ее насовсем. Родители могут по году не видеть ее, но они утешаются тем, что обеспечена дочь.

А вторая их дочка рядом, и служила бы она утешением в старости предкам, если бы не болезнь, которая вскрылась в ней в детстве, да так и не излечилась. Дочь эта старшая работать не может, но не может она и жить беззаботно. Недуг то и дело бросает ее на землю, бьется

женщина в корчах, а после совсем ничего не помнит. Лицо ее светло, но знает она совсем немного слов. А вот инстинкты сильны, и ходит она, молодая, и ищет мужских объятий, чтобы забыться не от страданий, а от утешенья. Двух дочерей родила она так, они проросли в ее прогулках, когда болезнь отступала. Две девочки младшие подросли и теперь дружат с ветром, нет надежды у этой женщины ни на кого, и вот она, та самая, что когда-то была добра, молода и дерзка, кричит от бессилья на всех, кто ее не сразу услышал.

– Но они же богатые! – тот, кто спрашивал, не удовлетворен.

– Да, – кивают ему. – Но разве купишь здоровую мать или умную дочь, разве купишь молодость, чтобы уследить за детьми? Или силы, покой, надежду? Остается только кричать.

– Закричишь тут, – негромко произносит кто-то из-за спины, а другой спрашивает:

– И за что ей это?

– Тссс! – прилагает палец к губам женщина из дома напротив. – Знаешь, как Старец-то говорил? «Никогда не спрашивай так. А то на себе узнаешь».

И правда, бури как не бывало. Солнце раскатилось, превысило свои меры, разлило тепло. Облака кружевами улеглись по подолу неба, а в поясе у него ни белой пылинки, ни перышка – синь!

Птицы тоже не ожидали – распелись, разлетались, друг с другом дружат. Но только вышел на улицу кот, как у них поменялись голоса, передали весть по цепочке: «Вон в том дворе бродит зверь, не стоит там приземляться». Только домашний кот не привык различать голоса малых птиц, он их хитростей не заметил. Он прошел по старому сему и набрал в шерсть сухих травинок. Но затем погулял по новой траве – и вот он чист.

Я привезла из большого города немного городской мороки, нет-нет и она оживает. Всколыхнулась и сейчас, но я прошла по росе, и вот ее больше нет.

– Вы живете тут редко, наверное, у вас нет мышей.

– Мышей нет, я мышей боюсь.

– Ваш кот не станет ловить мышей. За него деньги плачены.

– И что, если так?

– Купленный кот не ловит мышей, так народ говорит.

В полдень воздух прогрелся, наконец просохла трава, а то все последние дни, вопреки обычному, кисла. Голоса детей подернулись ленцой, к обеду наступил час тишины.

Тишина мимолетна, а вот покой неизменен. Ничьи голоса его нарушить не могут, настолько он густ и свеж. Жизнь в этом покое правильная, даже если кажется, что его нарушают ленью или нажимом. Все это поверху, не образуются корни у этих растений, пусть себе незнающие твердят, что укоренилось.

Все равно течет река, величественно простирается небо и переливает себя из чаши в чашу воздух, как из ладони в ладонь. Люди пьют его и примыкают к земле. И не хотят высоких домов. Разве что смолоду, когда думают, что им нужно что-то еще. Кроме того, что есть.

– Путано, но прозрачно. А если хотят до старости?

– Значит, души не повзрослели, хоть телам старость.

Буря прибила цвет липы, и воздух вдруг изменился. Что-то новое расцвело в поле и наполнило округу собой. Тут ничто ни дня не пустует, все насыщает, все умиряет, оглаживает и распушает, – чтобы открылись поры, чтоб проникала тайна.

К ночи семейство сов прилетает к соседскому кедру, и начинается скрип, словно качаются створки.

– Это мой мир, – слышится голос кедра.

– Он также и наш, – скрипит совиный голос.

– Не надо смазывать старые двери, – советует другой, тот, что гуще. – Лучше послушай, о чем их рассказы.

– Мне с самого рождения известны кошачьи тайны, – пробалтывается совсем тонкий голос.

Но – «Иии! Иии!» – взметнули крыльями те, что постарше, и семья взлетела. «Что, если и впрямь набегут люди, захотят послушать про сов, про этих крылатых кошек? Летиии! Спешииии!»

И вновь наступает тишина. Только кот чуть скрежещет когтями по подоконнику, поворачивая голову вслед крылатому семейству. Оказывается, язык сов коту известен. Он смотрит в ночное небо и думает, что он спит. Проснется – а у него крылья.

Кузнечики и цикады – родственники наверняка. Уж очень похожи их песни. Разве что вряд ли цикадам приходилось распевать их при прохладной погоде. Только солнце посулило тепло, только присягнуло лету, как непогода заставила его изменить данному слову.

– Та-ак! – зычно кричит женщина из окна, глядя на расшалившихся ребятишек, и те немедленно рассыпаются зелеными плодами из перевернутой корзины. Но едва кричавшая скрывается за занавеской, они снова тянутся друг к другу. И тут же оклик:

– Та-ак!

После нескольких ее возгласов дети начинают дразнить недовольную специально и громко смеются, услышав ее голос. Она тоже смеется и качает головой, глядя, как они в разные стороны бегут:

– Горохи...

Дети привезли из города свою крошечную собачку. Она никогда не видела столько земли, и вот робко стоит на тропинке, поджав под себя тонкую переднюю лапку. Жметя к хозяйке, напоминая игрушечного олененка из неведомой сказки.

Жил-был олененок, и познал он однажды бескрайность...

– А что ж не видно вашего? Вы же с ним, будто он тоже ребенок!

– Да вот же он, наш любимец!

И правда, огромный кот на сложенных пополам лапах скользит в траве, словно на лыжах между сугробов. Он заметил лягушку и прыгает вслед за ней, а она на миг опережает его в прыжке. Но вот лягушка затаилась, притворилась сухим листком, и кот потерял ее из виду.

– Смотри, вот она, вот она! – и палкой в лягушку.

– Не показывай, это нечестно. Она сумела его обвести, значит, заслужила спасенье.

Порыв ветра стряхивает с лица неба, словно это прядь волос, последние солнечные лучи.

– Ну что, кабачок пуховый, проиграл состязанье, спряталась от тебя твоя добыча?

– Та-ак! – громогласно звучит из-за забора.

Собачке ничего, а кот испугался и опрометью к дому.

Кузнечики, ключья туч, крохотный олененок с черными влажными глазами. Из ладони хозяйки он смотрит на кричащую женщину в окне и, стоит ей снова вскрикнуть, тонким голоском, который немедленно эхом разносится воздухе, возражает:

– Тяв!

Повелитель мира.

Они молоды и им хочется воли, а маленькая девочка беспрестанно плачет. Но вот она уснула и они приходят.

– Можно нам ненадолго сходить на речку?

А над рекой все движется, живет. Лето ведет свой рассказ, пестрят в небе сочные, с радужными бочками запятые облаков, а между ними – строчки песен. Ничто не завершено, день едва к полудню.

Собираются дети гурьбой и бредут через поле к лесу. Но едва они уходят, как девочка плачет. Подхожу, беру ее на руки, и она, как обезьянка, обхватывает меня руками и ногами,

прижимается животом. Смотрю, ее личико близко, расплывается в моих усталых глазах. Во рту у нее соска, и вот она ворочает ее от щеки к щеке, ищет свое утешение.

Сижу, качаю. Моя рука у нее на спинке, какая ладонь, такая по размеру и спинка. Перевожу взгляд в окно.

Там ласточки крутятся на проводах, переговариваются. Скоро их дети вылетят из гнезд, и начнется для ласточек время хлопотное – сначала учить летать, от напастей беречь, а потом поднимать в небо, сбивать в стаю, чтоб познали ее законы к будущему перелету. Но пока они беззаботно чирикают и обмениваются друг с другом тем, что кажется важным:

– Сегодня своего еле затолкала обратно, чуть не вывалился!

– Осторожно, тут кот! Кот!

Опускаю глаза, смотрю в крошечное личико девочки. И вдруг передо мной начинает проплывать жизнь. Не моя – ее отца.

Он рос, а я познавала ад, пытаюсь спасти своего птенца, который, едва стал сам выходить из дома, так и норовил созвать всех котов округи по телу свое да по душу свою. И не было в нем моей крови. Ни капли.

Я помню, как вступала в схватки с теми, кто посчитал его своей добычей, и были у меня на хватчиков всего-то молитва да ярость. И они соединялись и выступали у меня на лбу каплями пота, набегали друг на друга, сбивались и поднимались в воздух, потому что не было у них другого пути. А он, мой сын этот воздух вдыхал. И с каждым вдохом кровь его свой состав меняла, пронизывалась молитвой матери, яростной и несмирной.

Раскачиваются под ласточками провода, как подо мной в те годы земля.

Я качаю на груди его дочь. Это моя внучка. И, поднимая глаза, больше не вижу птиц. Я смотрю туда, где Бог слышит меня и знает, каким покорным и тихим счастьем переполнено мое сердце.

– Что-то щеки у нее покраснели, не диатез? – говорю мужу.

– А не сходить ли тебе к травнице? Вон, вороны по земле ходят.

– И что с того?

– Не будет дождя.

– Почему не сходить.

– Ну, слушай дальше мою историю. Поднялась я, значит, тогда, посидели мы после на досках с батюшкой, да той же ночью он и преставился. Отпевать его никто из благочинных не приехал – далековато, миряне сами читали по нему. Те, кто в церковь заходил, по очереди читали, а я попросилась дежурить и две ночи у гроба свечи жгла да читала про себя что положено, как он мне раньше на других показывал.

Похоронили батюшку у церкви, а на сороковой день, как он отошел, церковь упала, да прямо на его могилу и легла. Разбирать завал не стали, кто решал, я не спрашивала.

Я же потом долго не поднималась. Сестра моя пила да рожала, четверых родила и ходила пятым, когда они с мужем пьяными ночью утонули в реке. Он всплыл с пробитой головой, нырял, верно, вот и убили, так что все мозги вытекли, выловили его с пустым черепом. А ее так и не нашли.

И дети остались на мне. От года до четырех. Разве же тут Дух снизойдет? Никак не принять было, работала, как каторжная. Тем более что родители от бед на глазах состарились, и все хозяйство легло на меня.

Муж мой будущий с походниками-любителями шел через наши деревни, когда мы впервые встретились. Мне к тому времени уже исполнилось восемнадцать. Говорят, так не бывает, а у нас случилось. Он ведь тоже, как потом говорили, чудноват был. Заметил меня, я с двумя мальцами стояла, и сам застыл как вкопанный. Сказал, во сне меня видел, такую вот таежную красавицу, и я поверила, потому что за его словами слышала музыку, похожую как если бы

вдруг запели ночные деревья. И ничто его не смутило. Ни то, что не училась я, а когда мне было учиться, кто бы тогда детей поднимал? На мне мальчишек четверо, не могла же я их оставить, родители никуда, у матери ноги в язвах, отец головой трясет. Сказал он мне на прощание, что вернется, и я спокойно его отпустила. А когда он уходил, поднялась – это случилось со мной второй раз после предсмертного дня батюшки. Муж обернулся, но не понял, потому что трава стояла высокая, только рукой помахал. Я махать не стала, боялась, что опущусь, он заметит да напугается. И еще долго земли не касалась, а сердцем знала, что беременна.

Дочь я родила в городе и уже в замужестве. Жизнь моя изменилась до неузнаваемости, мне пришлось учиться всему на свете. Я хорошо успевала, память у меня всегда была верной, мешала только стыдливость природная. Но и тут муж нашел на меня управу, заставлял учить наизусть отрывки из книг да вслух их пересказывать. Так я понемногу научилась говорить, как принято, а потом и вовсе прижилась. И было меня уже от городской не отличить, разве что одеждой небогатой, потому что муж своими схемами и расчетами немного зарабатывал.

Мои родители в город переезжать отказались, меня же с детьми просто выгнали. Мамуля сказала тогда, что я тем им жизнь продлю и сестру свою несчастную воскрешу, если мальчишкам смогу помочь обрести судьбу человеческую. Чтоб не запили, как окрестные мужики, как отец их, что жил безмозглым и в гроб лег с пустой головой. Я все поняла и послушалась, а приехать мы к ним всего-то успели пару раз, как они умерли один за другим. Сначала мать, потом отец. Они всегда все делали сообща, хорошая у нас была семья, если бы не сестра – холодная душа, все подогрева искала, Царствие им всем Небесное.

Так и получилось, что к дому мы ездили всего три раза. От маминой смерти до похорон отца я не уезжала, а муж в город вернулся – к детям. Ходила я, кстати, к бывшей нашей церковке. Она вся сгладилась до пригорка, рядом у нас тоже реки, как тут, почва, как местная, подвижная, что не так, сама утрясет. Так я на тот холмик прилегла, землю послушала.

Обсыпало внучку, говоришь? Да ты травку-то бери и ступай теперь. Процедить не забудь, и по ложечке. Будет еще время вспомнить прошлое.

Пройтись под долгожданным солнцем, подпечь раскрытые плечи, полюбоваться на бескрайность полей, на стада коров и кучку овец, то и дело сгоняемых пастухом. Разбредаются коровы, устали от единства друг с другом, другого подобия ищут. Но хлыст разрезает воздух, и коровы снова бегут, как лучи стремятся к центру круга – к быку.

Теперь пасущийся бык в этих краях редкость. Случалось, что им приходилось померяться силами с пастухом, подергать судьбу за мантию: кто тут главный? Не обошлось тогда и без неприятностей, всякое было. Случались и беды.

– Три года-то назад бык пастуха до смерти об забор закатал. А уж нового-то искали, искали...

Того быка уже нет, над ним учинили расправу, а новые с тех пор своего стойла не покидают. Разве что выпускают их поразмяться в металлом обитый двор. А в поле – только если какой-то особенно ленив.

Последний бык огромен и равнодушен к существу. Даже воздух, расколотый, словно кринка, ударом хлыста, не заставит его шею дрогнуть. То ли дело коровы. Подбрасывая задние ноги, подобно лошадям, они каждый раз от хлыста очнутся и с ревом бегут обратно, чтобы, дождавшись тишины, снова опробовать отдельность.

Издалека стадо напоминает калейдоскоп. Пятнистые бока коров то и дело создают новый орнамент на ярко-зеленой траве. Пастух гонит стадо к реке, там он сможет отдохнуть, пока, врывая копыта в мягкое дно, животные будут пить. Овцы держатся поодаль, они даже пьют из ручья, а к большой воде ни-ни.

Но вдруг – йо-хо! – несется конный всадник, держит спину ровно, подпрыгивает в седле. И тут же стадо врассыпную, только бык неподвижен, а пастух с досадой вслед наезднику хлыстом – раз, два! Но короткий хлыст.

– Ишь, – слышу я, – этот все не уймется. Коней решил развести, обогатиться конями. Так вот нет, украли и кобылу, и жеребенка.

– Почему тут так?

– А где не так? У вас в городах?

Собирает пастух свое стадо, загоняет в реку и, бросив накидку на траву, ложится, смотрит в небо. Овцы рядом.

Утром над землей – хлопья тумана. Перекатываются, ползут, проникают в одежду, насыщают ее своими загадками. Десять минут прогулки – и одежда просит смены, и впрямь становится тяжела.

А туман уже укатился. Вон, за забором ползет к реке. Еще немного – и кувырк в воду: я вышел из тебя и к тебе вернулся.

Рыжий еж спешит по делам, торопится, но то и дело останавливается, все ему никак не прочихаться. Скоро день, а он не спит, какой странный еж! Но вот он юркнул под дом и исчез. Теперь до вечера.

– Почему еж такого необычного цвета? Вроде рыжий, а будто мукой присыпанный.

– Так старый он, вылинял.

Под высокой березой фрачная пара сорок, а крону накрыла туча блестящих ворон. Они то взлетают, и береза становится нарядно-прозрачной, а то садятся на кончики веток снова, всю крону собой закрывают, и она подчиняется их цвету, темнеет ликом. Вороны кричат возбужденно, громко. Там, наверху, что-то странное происходит, кажется, дерево от напряжения вот-вот заискрит.

– Почему так громко кричат вороны? – спрашиваю.

– Так молодые...

– А когда перестанут?

– Так и не перестанут...

Поднимаюсь в дом, а там огромная саранча уселась на искусственный цветок, который привезли сюда когда-то, вынув из городской вазы и пожалев опустить в помойку. Саранча слилась с зеленой пластмассовой веткой. Ну и вкус у нее! Всматриваюсь. Красивое, однако, создание. Думаю: насекомых Бог сотворил, чтобы нам не придумывать героев для страшных кинолент.

– Говорили, наш кот не ловит мышей. А он поймал.

– То про маленьких говорят. А ваш большой.

– Мы сегодня мимо кладбища проходили, раньше оно заросшее было, а сейчас порядок.

– Так мрут.

Достаточно того, что есть. Принимать это несмирение, тут не перед чем смиряться. Разве это великое, чтобы склониться перед ним? Или все же великое?

Пристройка от дома отошла, а она – важная часть. Крупная. Она тоже дом, только летний. В пристройке – дверной проем, чтобы сквозь него попадать в то жилище, что когда-то и в зиму умело хранить тепло. Снизу бревно проема стоит вплотную к бревну дома. А наверху отошло на полметра. Да и крыши в пристройке не осталось совсем, больше дыр, чем крыши.

И – не трагедия.

Полметра дыры изнутри заколотили фанерой. Смотрю и думаю: стянули гвоздями дом плотный и дом легкий. Но оба, оба они легки, нет плотности в нашем жилище. И посмотрите же, что внутри!

А внутри пристройки поработал незатейливый гений: вдоль всей крыши натянул толстые веревки. На одной стене повыше, на другой ниже. С уклоном.

Огромный лист полиэтилена натянут теперь под дырами в небо. Эту толстую пленку перекинули через витые веревки и прищепками к ним прикрепили. Взяли обычные бельевые прищепки, много. Теперь домашней утвари не страшен дождь. С плотной пленки вода будет стекать свободно, уклон рассчитан точно, значит, не задержится вода, побежит вон к тому желобку, а затем в землю.

– Вы раз в год на месяц приезжаете, зачем вам тут новый дом?

– И правда.

Прохожу в пристройку под прозрачную пленку. И вдруг – кружится голова. Хватаюсь за стремянку, что висит поперек от стены до стены. Кажется, я еду, еду. И через крышу видно небо.

Кабриолет.

Птенец сороки упал из гнезда. И такой крик поднялся по округе, такая рассыпалась птичья тревога! Крупные нарядные птицы закружили вокруг бедолаги, защелкали, заголосили, запричитали, наставляя.

– Не выпускайте животных на улицу, у вас рядом с кучей сороки птенца караулят!

Куча.

В тот год, когда эти края впервые открылись для нас, мы с опаской вошли на участок, заросший травой в рост человеческий. Прямо перед домом красовалась липа с ветками до земли, словно приглашая: берите, живите, соглашайтесь, не упустите!

– Вот тут, под липой, хорошо бы поставить зонт и шезлонг под ним, так тут красиво, – сказала почти хозяйка, и ее старший сын обрубил нижние ветки, чтобы стало липе полегче.

– Да, поставим, – согласился почти хозяин и в первый же день своего владычества вынес из дома нечто, положил под липу, благо рядом с дверью в дом, и сказал: – Пусть пока тут полежит. Потом уберу.

С тех пор прошло пятнадцать лет.

Каждый день нашего пребывания в этих краях куча подрастала то на доски, то на гнилые бревна, то на кирпичи, а то еще на бог знает какую непонятную утварь. А в этом году она торжественно увенчалась старым диваном с откидными валиками. Диван, обитый протертым гобеленом, совсем распался, пружины выскочили, за что он и был удален из сеней, где служил лежанкой для прочего хлама. Непочтительно брошенный на бок во двор, теперь он наконец промоет себя дождем, продышит ветром.

И вот куча громоздится под липой прямо напротив входа в нашу разбитую лачугу, но никто не задирает хозяина участка. Разве стоит огорчения мужа какая-то куча, пусть даже напротив ворот? Другое дело, если бы речь шла о чем-то серьезном.

– А вы бы своему сказали, чтоб разобрал.

Улыбаемся.

– Где же птенец?

– Да они переместились! Они его переводят, окружают втроем и вразвалку ведут. Видно, не удастся поднять – тяжел.

– Втроем? Значит, не просто родители, а еще и сородич с ними...

– Да, всем миром спасают дите.

А люди?

Холод наплыл, просочился под крышу.

– Что будет, если все же растопить эту печь? Ребра дрожат.

– Посмотрим, что будет. Топить?

– Утром.

Небо в закате розовое, облака перистые – и впрямь птицами. Прохладно на улице, но все же теплее, чем в доме. Фундамента нет, из-под пола ползет сырость. Сильно подвел июль.

– Почему утром?

– Протопим, подсушим, потом проветрим, если будет жарко. А печку точно не опасно трогать?

– Увидим.

И правда.

– Хозяева! Кто дома?

Проходит, садится. Угощаем чаем. Рассказывает: на пенсию выходить нельзя никак, тогда не купить подарков внукам. Вот и работает – в следственном изоляторе медсестрой. Неподалеку, в маленьком городке. Тут вон в деревне вскрыли бабкины сундуки, вещи перебрали, просушили, и она на работу отвезла. Людей в изолятор привозят то без одежды, а то лучше бы ее не было. Или приходится сразу жечь, вот и годится все. Отдала, так еще просят. А нет больше. Почему трудно, работа как работа, она довольна. И хорошо платят, двенадцать тысяч в месяц.

– Двенадцать?

– А ты получаешь больше?

– У меня есть вещи крепкие. Возьмешь?

– Еще как возьмешь!

Ребра впрямь ходуном ходят.

– Давай пройдемся под закатом?

Идем молча. Думаю: она довольна. Работа есть, на что купить внукам – тоже. Силы на внуков еще остаются. Идет, улыбается небу. Потом руками всплеснула и бегом домой – бак с печи снимать. И машет мне от забора:

– Прогуляемся в другой раз.

И правда – солнце село.

– Дом пониже к реке хорош, участок с горкой. Это один из села себе землю в деревне купил, мол, там дом, а тут дача. Говорили ему: «Не бери тот кусок земли, а если что, ставь дом на горочке». Нет, разбил на горке сад, а дом поставил внизу. Обнес участок изгородью, в землю ввинтил забор, чтоб век стоял. И теперь с каждым паводком дом к забору плывет, по чуть-чуть приближается. Скоро будет и дверь не открыть.

– Да ладно. Не может быть.

– Пойди посмотри.

Тут вообще земли плывучие.

Рассказывают, в деревне много лет назад жил гробовщик. Колотил гробы с утра до ночи. И хоть брали его гробы по надобности, все равно, сторонился его народ. Мол, что за любовь у него странная. Колотил бы сундуки, в них век надобность.

Каждый год гробовщик гробы сушил. Вытаскивал их на улицу. Деревенские как увидят гробы, так пугаются. Всю жизнь нам, говорят, забыться не даешь. Вроде даже и Старец к нему приходил, говорил, мол, люди жалуются. Слишком частые про смерть напоминания.

И случилось однажды – гробы гробовщик выставил, да приболел. И свезли его в больницу дальнюю.

А тут дожди. И не просто дожди, затяжными ливнями. И вот как-то утром народ пошел коров выгонять, глядь, а рекой гробы плывут – новенькие, нарядные.

Так по реке и отправились.

Тут как раз перекрестился народ, повеселел, праздник спраздновал.

А гробовщик выздоровел, вернулся домой. Видит, там пустота, все припасы река сплывила. Так он сам к Старцу отправился, не побоялся болот. Помоги, мол, вернуть законное.

– И что? Кому они нужны, гробы?

– Говорю же, гробы крепкие. Их все до одного вниз по течению повылавливали и к нужному делу пристроили. Кто подобрал под свой размер, кто припрятал себе на чердак, а другие так по хозяйству приладили.

– И что Старец?

– А вот тут по-разному сказывали.

Кто говорил, он пометил дома и все гробы велел вернуть хозяину. Другие помнили, что прогнал Старец гробовщика, чтоб и дорогу к нему забыл. Мол, забудь, раз товар твой река взяла, да и говорил я тебе.

Были в этой истории еще третьи. Те боялись про это рассказывать.

– И что они?

– Раз теперь никто не боится, значит, вымерли.

Смотрю, небо туманится, ветер подул, пригнул тонкие стволы, растревожил старые деревья, пронесся шумом и скрежетом. Звезд не стало вмиг, вроде был вечер, а сразу ночь.

Нужно, думаю, узнать, чем эта история кончилась.

– Так что было-то?

– Вроде Старец себе гроб заказал, а гробовщику велел больше не запасать, колотить только по вызову. Ну а тот, говорят, не послушался, стал опять молотком стучать. Оступился однажды, когда гроб сбивал, да в него и упал. Ушибся, говорили, не смог выбраться. А тут и ливни пошли, вода поднялась, все как раз по домам попрятались. И поплыл гробовщик в своем новом гробу. Говорят, так и сгинул он.

Это что за история, думаю. И спрашиваю:

– Как в деревне считают, за что?

– Чтоб не наводил на людей мысли смертные без намеренья.

– Но ведь говорят, что надо помнить о смерти и жить со страхом.

– С божьим страхом, а не с тоской грядущей земли. Если каждый день новый гроб встречать, поневоле примеришься. Так вроде этот страх неправильный.

– А святые старцы в гробах спали и ничего. Что неправильного?

– Простые люди святым не чета. Слабы и боязливы. От них того усердия и не требуется. Что святому благодать, простой враз на грех перевернет.

– А где стоял дом гробовщика?

– На том месте, где дом к забору плывет. Говорили ему: «Не бери того куска».

– Ну, если так, дом спустился бы и с горочки.

– Старец он не любил карать. Только если напрочишься. Если б его гробовщик послушался, то везде бы дожди выпали, а его бы надела не тронули.

Сказала так и пошла себе.

Стою, гадаю. Может, правильно. Не кличь беду, не пугай народ без толку.

Утром небо ясное, ни облачка. Думаем, можно позагорать или хоть подышать телом. Но нет, часу не прошло, набежали тучи.

В доме не стало теплей, решаем рискнуть и опробовать печь: может, все же жива?

Печь после долгого перерыва – дело мужское. Только вот кочерга ушла, была-была, а хватились – нет.

– Да она у мангала!

Печка стонет, тяжело дышит, еле жива. Разбудили старую, не дадут помереть. То и дело открывается дверца топки, непривычные к огню и дыму в доме собачка и кот боязливо топчутся у двери. Впрочем, собачку утешают, тут же берут на руки, но она и там дрожит.

Неужели мы сможем согреться? И смеемся, ежимся.

– Эх, хорошо бы борща с утра. И хлеба с салом. Вот тепло внутри и продержалось бы.

– Доели борщ.

Старые, полупустые дрова летят в кирпичную утробу. Ни запаха, ни треска. Ни срока. Молодое дерево, умирая, куражится и бравирует: что для юности смерть? А старое все трагично, оно обращается в прах тихо, ничего не дает, кроме шепота старых дум да скудного тепла.

Окна дома закрыты, припоздавшее солнце наконец прорвалось, размахалось лучами на тучи, и те расползлись, зависли над мощной рекой. Порывают, но ни с места.

Если будет жара, все равно хорошо: дом подсохнет.

Трясогузки носятся в траве, если и поднимаются, то только до крыши. А ласточки высоко – зря обещали дождь.

Отчего-то сохнет красавица-береза. Что с тобой, спрашиваю ее. Говорит: «Зря вы тут выкопали колодец, отняли от корней воду».

Разве люди сделали бы многое, если б заранее знали?

Выхожу из дома и окликаю:

– Дочь!

Обернулись четыре. Все смеются. Пора готовить обед, мужчины на улице чинят крышу. Конек покосился, тянут из сарая большую стремянку. Такую длинную вытянули, а хвост все внутри.

Молодые женщины в доме, смотрю на мужчин. Старший внизу отдает команды, кто помладше, поднялся наверх. Качается непомерной длины стремянка, друг за другом по ней вверх крадутся.

Лучше не видеть.

Обед должен быть большим, много народу.

– Я не могу на это смотреть! Когда твой муж или брат на такой крыше, это страшно! – в голосе дочери возмущение и тревога. Страх у нее скорее в уме, чем в сердце, жители города не очень умеют бояться таких вещей. А тут – мужчины лезут на крышу, значит, время кричать.

– Иди чистить картошку. И оставь мужчинам заниматься мужским.

– Но они могут упасть!

– Могут. Хочешь, пойдешь, отзови. Попроси пол помыть – не опасно. Только не жалуйся потом, что мужиков не осталось.

– Представляю, как они вымоют пол!

– Точно. Пол мыть не стоит, это мы можем лучше. И крышу чинить не стоит. Опасно. Но что им тогда остается делать? Вымрут.

Ворчит, уходит.

Мужчины конек подправили, вернулось к обеду их столько же, а мужского пришло вдвойне. Так и держится их сила за столом, значительная, как победа. Встречаем их заботой и кротостью.

Если пойдет дождь, теперь над печкой не будет капли.

Но пока солнце.

На реке огромные баржи моют песок. Что ни вечер – гул, словно вдалеке улей. Это уютно, звук теплый и работающий. А значит, надежный. Стоим, слушаем.

Вдруг:

– Смотрите, смотрите, к ней сын вернулся!

– Не к добру это, ох не к добру...

Она – древняя уже, говорят, даже Старца живьем видывала. У нее в палисаднике сахарная яблонька растет, этими яблочками она каждый год всех деревенских ребятишек угощает,

даже сельские забегают к ней, ни у кого в округе таких яблочек нет. Хоть и старая яблоня, все плодоносит. А хотели привить от нее веточку, так нет, не прижилась: сюда приходите за угощением.

Хозяйка яблони родила когда-то двоих детей, сына и дочь, мужа похоронила рано. Дочь осталась при ней, выросла, сама замуж вышла, тоже двоих родила, потом переехала в город, часто мать навещает. А сын подался в Сибирь, вроде к родне. Не звонил, не писал. Первые лет десять-пятнадцать от родни приходили вести. Пьет, писали, работает, но не всегда, чаще так бродит. А потом не стало родни. И не стало известий.

Ее спрашивают, тоскует ли. И что с того, что прошло сорок лет, ведь сын. Она смотрит перед собой тихо, ни бровями, ни щеками не дрогнет, отвечает, мол, нет. Отболело.

Так яблонька все плодоносила. Подросли у хозяйки внуки, правнуки. Звали ее в город, не соглашалась, я лучше тут. Сама. Зимой снег разметет, тропинку к соседке наладит, все не одна. И так год за годом. А летом детки к ней, и она их яблочками угощать.

И вдруг клич: идет! Как пить дать он, вылитый муж ее, давным-давно умерший. Разве что не такой справный, каким тот помнится, а помятый, кое-где порванный. Сам старый уже. Идет с пустыми руками, ничего при себе. И прямо к дому.

Успели, забежали, только не сказали ничего. Стоят на пороге, руками отмахнули, смотрят, моргают. Как в войну. А на окошке снаружи птенец салатový сидит, совсем недавний, клюв желтый. Что за птица, бог знает. Спугнули, он взлетел и сразу под крышу.

Она взглянула на них, побледнела. Поднялась, через сени вышла. Встала у двери, перед собой смотрит, мало что видит.

Подходит. Остановился поодаль, как не признал. Посмотрел, помялся, на людей глянул. Те кивают: она, она. Тогда кашлянул и зовет:

– Мать. Я это...

Она одну руку к груди поднесла, сгребла в горсть фартук. Другой рукой за собой пошарила. И сползла на крыльцо, завалилась набок. Люди поодаль, подхватить не успели. А подхватили бы, что с того.

Горе, конечно, – не обняла. Но радость – дождалась.

А в палисаднике яблонька яблоками светится. Сахарными.

Ночь в этих краях опускается медленно, лето долго светит ночами, северное небо алеет с закатной стороны, почти до востока тянет полосу розовую. Уже давно спят сороки и вороны, улетели, попрятались чайки, что днем целыми стаями так и кружат над нашим домом. Теперь спят где-то, засунув клюв под крыло, словно они куры.

Разве что и вспомнить кур, говоря о чайках. Кур в деревне совсем не осталось, говорят, слишком много болезней да грязи. А яйца возят магазины на колесах, так куры к чему?

Зато в селе, что неподалеку, коров прибыло. Через дом корова, а то и две. Труд тяжкий, но хозяева не спускают. Сдают раз в неделю творог, сметану, молоко. Спрашиваю: почему творог такой сухой? Отвечают: такой требуют, говорят, чтобы никакой сыворотки, только сухой вес. Говорю: мне бы с сывороткой, понежнее. Улыбаются: проку платить за воду?

Вот уж что не вода.

Им вставать до пяти, в пять дойка. Ни выходных, ни праздников, так целый век. И хорошо, когда по теплым сеням нырнешь в хоздвор и к корове под бок, тепло с ней рядом. А когда на ферму? Да из соседней деревни. Да если по снегу.

Зимой в черную ночь подъем в четыре. Одеться, чаю с хлебом и два километра пути. Вот они засветло и ложатся. Радуются, что все успевают. Молоком от фермы запахнет, глядишь, в селе уже свет погас. Через один дом.

А ночные птицы летят на охоту. Зайцы несут свои уши, как мачты, над морем клевера. Совы – то они есть, то их нет, куда исчезают, не скажет никто, старожилы только руками машут: зачем это знать? Не знаешь, так удивишься.

Ястребы ближе к утру. И шуршат, шуршат в высокой траве всевозможные грызуны.

Тишина.

Жизнь вечная.

Старые заваленные перины серого цвета в лиловых потеках – облака. Небо закрыто, заложено, покато. Неряшливые и смятые, тучи громоздятся, свисают низко, цепляют кроны берез, и листья тускнеют, застывают буднично.

Птицам сегодня все равно, они не слышат плохих вестей, это нам, людям, все мнится, будто июльские холода что-то особое значат. Впрочем, и люди не склонны к печали, тут, в этих краях, пронизанных неведомой тайной зачарованной земли, не приживается печаль.

Гудит на всю деревню машина – передвижной магазин. Продавец и шофер достают и расставляют в траве ящики с товаром, и чего там только нет! И колбасы, и сыры, и сладости, а уж всяких консервов, приправ не счесть. Холодильник в машине, покупайте полуфабрикаты! А фруктов и овощей – на любой вкус, даром что в деревню приехали, вдруг какой-то, как мы, нерадив и не вырастил ничего? Кто-то и впрямь покупает, радуется.

Накрапывает дождь. А на лицах улыбки.

– Ты куда набрала-то столько? Не донесешь!

– Да я вон его попрошу, дотянет.

– Он-то дотянет, только теперь не за так.

– Ой, ой! Нешто мы не заплатим!

– Мне колбасы. Палку этой и полкило хорошей.

– Как она сказала? Этой и хорошей?

– Так палку собаке! – и все смеются.

– А вы приехали давно ли? Надолго?

– Да уж пару недель как. До конца месяца будем.

– И хорошо, и правильно! Приходите за овощами, правда, с прошлого года они, зато как новые. И картошка-то рассыпчатая, и лучок-то крепкий. А морковь со свеклой наливные, будто только с грядки. Погреб у нас уж очень хорош. Сами посмотрите – на овощах ни морщинки. Так отдам, только берите. И уж кабачки спели новые, смородина. Надо?

– Спасибо, зайдем как-нибудь.

– Уж вы уважьте, возьмите. Не продаю, лишь бы с пользой.

– А дождь-то как расходился! Кидай ящики в машину, с печенья начиная, а то раскиснет. Да сам-то внутри, в бортах сиди. Оттуда подавать будешь.

– Что-то не видно ее сегодня, – кивают на скромный дом. – Не приболела?

– Сейчас схожу, позову, может, не слышит.

Лиловые перины потемнели, но отдались, невидимые руки отжали их в реку. Горизонт сделался полосат, волнист, а над деревней рассеялось солнце. Дождь прошел легкий, в полном безветрии и угла взять не смог, занавеской из бязи упал прямо.

– Эх, красота, а просторы, просторы какие! Там одна река, тут другая, здесь поля! Глаз не оторвать.

– Век жили, а не привыкли.

– К красоте привыкать никак нельзя, оно грех.

Стелятся взглядами по горизонту и на разные голоса вторят:

– Грешно привыкать к красоте. И правда, привыкнешь – так согресишь.

Как не было туч. Небо чистое, праздничное. Разве что белая оторочка над дальним лесом. А река расширилась и идет хозяйкой, синь свою расправляет.

Грешно привыкать к красоте.

Сначала опустел дом, что ниже к реке, потом почти полностью развалился. Прежде-то был многолюдный. Но разлетелись дети, как водится, старики остались одни. Звали их в города, они отказались.

Старикам еще повезло, до старости оба дожили, по деревне же через дом вдовы, а мужики без времени ушли. Эти же полвека прожили неразлучно и хотели остаться где родились. Остались и вчетвером жили: бабка с дедом, кошка да пес.

Пес старый, не пережил лютую зиму, прилег у порога и сдох. Попросили они тогда детей, чтоб привезли им другую собаку – молодую, крепкую. Пока дети в сборах, как-то утром, глядь – небольшая собачонка у крыльца, и ну хвостом вилять.

Ест собачонка немного, перед хозяевами стелется, на чужих лает звонко, оповещает. И вроде ничего, только вот дети возьми и привези старикам другую собаку – злую, цепную. Таковую спустишь – любого порвет, а от малой собаки какой прок?

Стали старики думать, что им с этой собачонкой делать. Стоят как-то раз деревней, о том, о сем говорят. Соседи кивают на собачонку:

– Ишь, какую защитницу вам Бог послал!

А старики ну плечами пожимать. Он сухой, весь сморщенный, ростом на две головы за жизнь убыл. А она огромная, как тот утес, что издалика видать. Голова в плечи вжата, груди со спины начинаются.

– На что нам лишний рот? – говорят.

В те времена Старец только в этих местах осел, как мы с вами, меж людей ходил. Больше молчал, чем говорил, а скажет, никто и не слушал, мало ли. Тем часом шел он по деревне к реке и разговор этот услышал.

Поднял руку Старец, а солнце за его спиной так, что кажется: от руки его свет идет да на всех падает. И наставляет:

– Берегите собаку пришлую. Она вашу жизнь продлит.

Посмотрели старики на него, да кто он такой, чтоб его слушать? И стали жить, как жили, и что решили, решать. Так год прошел.

А через год стоят все снова гуртом, судачат. И как раз внизу реки, у дома тех стариков. Глядь, опять Старец идет, так же посохом землю меряет. Слух-то о нем к тому времени уже прошел, но в имя еще не оформился. Поздоровался Старец с людьми, мира пожелал и спрашивает:

– Где, – говорит, – собака ваша пришлая?

А у них глаза разбежались в разные стороны, да и местные все потупились, молчат.

– Так что же, – продолжает он, – до сих пор ли ваш дом сторожит, служит ли верой и правдою?

А все молчат в ответ.

– Порешили собачку, значит. Или я не прав? – посуровел Старец.

– Так на что нам лишний рот? – всхорохорился сухой старик, старухин муж. И добавляет: – А патрона не жалко, и весь сказ.

Тут Старец руку поднял, а солнце снова будто от его руки идет и всех освещает. Только на старика со старухой лучи не падают, так и стоят они парой в темном кругу.

– Ну так и будь по-вашему, – Старец сказал и пошел к реке. Ему все вслед глядят, а он за деревьями и затерялся.

А через три ночи хватил старуху удар. Старику горе, а она не мучилась. Он же погрустил до зимы и тоже преставился.

– Что же получается, что Старец этот на них смерть наслал? А еще называется святой! За собачью жизнь двух стариков жизни лишил!

– Ну, даже если и святой кто, то не ему других людей жизни лишать. Такой, видно, был о них Божий промысел. И не за собачью жизнь, а за жадность с жестокостью.

Много о Старце разных историй в округе. А правда ли, Бог знает.

Понабежали белки. Может, в лесу пожар? Но нет, не видно дыма, да и не пахнет. Белок в этих местах не заметно, разве что ближе к лесу, в ельнике, нет-нет да пробежит рыже-серая, метнет ореховой скорлупой, защелкает, как клест. Посмотришь снизу, а она косит глазом. Так и кажется, что смеется.

– Да убери ты ружье, совсем спятил? Нечего делать, по белкам палить? Пойди, вон, траву собери, опять вымокнет вся. Будет дождь.

Белки тучей, странное дело. И правда, все вышли, стоят, смотрят. Что за диво? Может, у них какой праздник?

И вдруг сороки, стаей. Погнали белок! Кружат над ними, а те по веткам дереу.

– И с чего-то это он вдруг стрелять надумал?

– Так поразмяться.

– А то, вишь, залежался...

– Да он с роду несмирнен, раз вылез под голодным небом.

Белки донесли до дальней сосны, а там поляна. Развернулись и обратно, сейчас опять будут тут. Чудеса!

– Это как же так, под голодным?

– Так стихи он пишет. С малолетства. А как напишет, сразу ищет, кому читать. Вечно пишет и вечно ищет. Голодный по людям всегда, значит, так на роду написано, значит, небо голодное было, когда мать родила.

– И кто такое придумал?

– Так он и придумал. В стихах сказал. Только мне не упомянуть, как там оно.

– А белки-то, белки, глянь, по земле бегут! И сороки их гонят! Кино...

– Может, играют?

– Диво! Не упомянуть таких-то игр.

– А кто не пишет стихов, тот под каким небом?

– Все одно под голодным.

– Почему так?

Махнули крылом сороки и к берегам. Там кричат чайки, роняют рыбу. Может, какая рыбина долетит до земли – чем сорокам не праздник? Белки растерялись и подались прочь.

– Так человеку на земле всегда голод.

Сегодня машина привезла мороженое, а оно тут такое, как было в детстве в магазине «Детский мир», в вафельных стаканчиках, с крупной шапкой поверх и розочкой кремовой. Все набрали себе и детям, потащили домой пакетами в морозильник закладывать. А потом через забор с угощением в руках разговоры затеяли.

– Справная машина у вас. Хорошо вам было ехать с котом. Плохо бы с конем.

Удивительное порой услышишь. Пропустила про машину, откусила от сливочной розочки. Представила коня, уютно свернувшегося у меня на коленях. Лежит, пофыркивает. Тепло скликает.

– Что ж плохого с конем?

– Конь кота не повезет, известное дело, не любят на дух лошади кошек. Ты попробуй, погрузись с кошкой в повозку или телегу. И конь с дороги сойдет, и кот сбежит. У цыган собаки были, коты никогда. Собаке, ей все равно где, лишь бы человек рядом.

– И правда.

Теперь представляю кота с конем. В машине на заднем сиденье. А что, если кот крупный и конь – пони.

– Коню дорога нужна, а коту дом. Никогда им вместе не быть.

По деревне, важничая, проходит пара. Она везет коляску, он ее рукой обнимает. Беседуют, а, проходя мимо домов, со всеми здороваются.

– Жenu бросил в городе, приехал сюда. И живут.

– А что бросил?

– А она чуть что – к маме. То погостить, ей у него места мало, то пожить, она соскучилась, а то в лифте покататься, ей пешком к нему на этаж тяжело. Ну, она к маме, а он сюда.

Ребенок в коляске заплакал. Мужчина его на руки поднял, теперь женщина одной рукой коляску держит, другой обнимает мужа. Вид счастливый.

– Так ведь та ему тоже родила. Но так по маме скучала, что и рожать к ней поехала. А у него работы вагон, из города в город не наездишься. Жена родила, а он в пути. А путь, как всегда, через село пролег.

Удаляются, идут рядышком. Она к нему голову поднимет, скажет что-то, ответ услышит и головой к плечу.

– Жена-то стала думать: что же он за ней не спешит? Вернулась сама. А его и нет. Так побыла, побыла, и опять домой.

– К маме.

Смотрю уходящим в спину. Какой матерью станет та, что сейчас осталась одна? Пойдет ли ей впрок наука, или тоже откроет объятья дочке, мол, иди, отдохни от мужа и его лестниц?

– Так вот я и говорю, хорошо, что у вас машина, не конь.

– Эта-то, здешняя, какова?

– Эта как раз кошка, от дома никуда. Провожает, встречает, все для него. А он то и дело в путь.

Властная мать, думаю, растит дитя, как собаку, чтобы той хозяина знать. Вырастет ребенок, женится, а хозяина не может сменить. Так и ходит беда по земле.

– До чего мороженое вкусное.

– Это да.

Кот упорно стремится к выгребной яме. Но мы начеку. Поднимаем его и, несмотря на протесты растопыренных лап, несем прочь. Делает вид, что забыл, участок обходит и снова туда – к запретному.

– Смотри, какой у него взгляд! Как будто хочет сказать: «Это еще что за фикус у меня на дороге?»

– Какой же ты фикус? – смеюсь, мужа спрашиваю. – Ты ему ангел-хранитель.

Выгребная яма в дальнем углу участка, вокруг нее трава стоит по пояс, специально не выкошена. Кот считает ее забором и ходит вдоль, тропинку ищет. И вдруг прыжок – и он в зарослях травы. Еще шаг – и окажется рядом с целью.

Тут и муж совершает прыжок. Полегла трава от его вторжения. И вот уже орущий любимец изымается из зарослей за шкирку.

Думаю: когда мне препятствовали некие силы, а я упорно стремилась к цели?

Вспоминать не надо.

А когда, обведя вокруг пальца своего Ангела-Хранителя, я все-таки оказывалась в выгребной яме?

Что говорить...

– На будущий год забором обнеси? – скорее спрашиваю, чем советую, и муж кивает.

– Уже тоже об этом думал.

Вдруг вижу такое, чего на картинках полно, а в жизни ни разу не встречала. Еж тащит на спине засохший сырник, отправленный утром на помойку – в стог сена.

– Держи кота, – шепчу, – дай полюбоваться, а то сейчас опять начнут друг на друга фыркать. Такой гордый еж!

И думаю: а я когда несла домой чье-то ненужное и удаче радовалась?

Старый разлапистый куст черноплодной рябины крайними ветками лежит на земле. Решили облагородить, срубили те ветви, что полегли. Глядь – а внутри гнездо! Теперь муж вокруг куста частокол городит, вон, руки занозил, и все для того, чтоб кот не влез, чтоб не нарушил птичье счастье.

Когда я ломала, а потом не знала, как выстроить?

Ну, тут и думать нечего.

Солнышко ушло за облако, кот встряхнулся, пустил по спине волну и занялся другим делом.

Другое дело – еще одна несбыточная мечта: попасть в хозяйственный двор. Там столько всего неисследованного! Поэтому он туда и стремится. Но там и опасного не счесть. Вот мы вход и стережем.

На несколько минут ухожу в дом, и вдруг крик – муж меня вызывает. В голосе возмущение – кот все-таки проник в хоздвор! Раз в выгребную яму не пустили.

Спускаюсь вниз и наблюдаю гонки с преследованием. В хозяйственной пристройке что ни шаг, то преграда. Я в этот мир не погружаюсь, там властвует мой запасливый супруг, отчего передвигаться без риска для жизни внутри невозможно. Муж и сам это понимает, поэтому ворчит на кота и грозит ему дубинкой.

– Сейчас поймаю, шкуру спущу! – лютует тот, кто только что спасал птичье гнездо и вообще всю жизнь проработал спасателем.

Думаю: а когда я была в роли домашнего любимца? И меня осыпали ласками и дарами, покуда мне не пришлось в голову открыть запретную дверь?

Неповоротливый мой муж исполняет роль строгого смотрителя. Он никак не может справиться с задачей и свирепеет. Иду утешать – пора и мне поработать спасателем.

– Давай я его достану.

– Ты там убьешься!

Наклоняюсь под стремянкой, огибаю какую-то железную конструкцию, перелезаю через ящик и вижу ошарашенного кота. Он явно ушам своим не верит – никто в этой жизни с ним таким тоном не разговаривал.

– Иди сюда, мой хороший, – зову его, хоть и знаю: бесполезно, не сдвинется с места кот.

Впрочем, не двигается – это хороший знак. Если кот не удрал, значит, позволяет себя достать. И я его достаю, а потом с трудом прежней дорогой возвращаюсь обратно.

Сердитого мужа целую, а кота уношу в дом и даю ему свежих лакомств.

Хорошо, что я не домашний любимец.

Говоришь просто, но сбиваешься и взлетаешь. И вот паришь вопреки земному и принятому, влечешься, несмотря на условленное.

Хмурилось, хмурилось, вдруг – раз! – закат. И вспыхнули кроны, засияли каждым листом. Тут и объем, и полнота, и прозрачность. Каждой травинкой навстречу уступающему солнцу отзывается земля. «Ты покидаешь нас, – поет живое, – и придет ночь, потому что нам никак нельзя без ночи. Но сейчас ты еще с нами, и эта песня в твою честь!»

Звенит еле слышно, трепещет. Звук, словно крылья бабочки, будто летящие зонтики одуванчика, кружащиеся семена. Торжественность и скромность в преддверии тишины.

На соседнем участке – пропеллер, прилаженный к высокому шесту. Замер, не колыхнется. У облепихи одна ветка ходит: вверх, вниз, вверх, вниз. Ни птички на ней, ни жука покрупнее. Живет ветка – сама себе правило.

От земли тянет холодом, нижней водой. Той самой, что тяжелит крылышки мошек, чтобы ласточки низко летали. Трава полегла, изломалась, приткнулась.

– Где бы хлебушка добыть, не одолжите?

– А берите, у нас с запасом.

– За сколько?

– Так берите, хлеба много.

– Так нехорошо. Неправильно.

Смотрю из-за забора – одна идет к другой, пакет прозрачный в руке, в пакете желтое.

– Вот вам за хлеб, городские, принимайте, чтобы не в долг.

– А это что за такое?

– Зверобой на росе собранный, в нужный час. Пейте, чтоб животом не маяться, мы тут отродясь пьем, хворобы у всех разные, но чтобы животом – ни-ни.

– Спасибо! Только вот непонятно: почему просто так нельзя дать, если много?

– Дать-то можно, брать не след. А если взял, себе запомни, чтоб надежней вернуть.

– Почему же?

– Когда много в долг, ум сначала ничего, а потом помрачается. Туманный становится, глядь – а ты ему не хозяин уже.

– Так получается, это мы хозяева умам нашим?

Лучи уже удалившегося за горизонт солнца высвечивают розовым другой берег реки. Река словно блеклой накидкой покрывается, а небо, наоборот, сияет, переливается перламутром, от синего до розового, с желтым, с рыжим, с золотым.

Летят по небу воздушные шары праздничных дней. Умы правят своими людьми, а небо светится и ждет ночи.

В тот год она шла по дороге, стократная жена, коварная и внезапная, как любая стихия. О ней говорили, что мужей она сменила, сколько иной прожил дней. И с каждым венчалась, каждому присягала. Она шла, широким подолом стелила по дороге, а пыль не смела взметнуться, вздувалась клубами поодаль, шлейфом парила, как бы и не от нее.

Листья деревьев разучились в тот год блестеть, матовые, словно пудрой покрыты, они сворачивались – прозрачные, хрупкие. Думалось: доколе им так, без перемен? Или вышли сроки?

Она или шла, или стояла; о ней говорили, что наступила, измучила тесной пристрастностью, извела. Тщетно в поисках перемен поводили глазами люди по мглистому горизонту.

Молодые женщины переговаривались, руками держались за бока, локти отводили назад, грудь расширяли, чтоб больше воздуха удержать. Чуть откидывались назад, казалось, качнутся и упадут, но нет, даже в ту пору толкни – не собьешь. Эта земля, этот воздух, молоко этих коров всегда придавали ногам особенную крепость.

– Что там с колодцем?

– Пустой.

– А дальний?

– Брось! Только с реки телегой. Даже дно растрескалось по низам.

Это который же был год? Сейчас не вспомнить, цифры из памяти вышли, вкус и запах гари остался.

Она шла и сжигала живое, жара того страшного лета, сманивала старых и зрелых, тех, кто еще и не думал умирать.

Теперь о ней вспоминают тихо. Понижают голос.

– Разве обильные дожди – наказание? Ничего, что помидоры поела фитофтора, эта их, помидорная, ржа. Да больше бы не было горя. В то-то год, помните, вообще все пожгло – и ботву, и клубни, и корни.

– Почему одно крайнее? То горит все в округе, а то вон тонет...

– И не жалуйтесь. Смотрите, с этим не шутят. Скажешь «плохо» – и скоро узнаешь, что это слово значит. Не то, что ты думал.

– Выходит, уж не посетуй! Да вам лишь бы приметами потрясать.

Небо влажное, распущенное. Солнце появится, напомним: «июль», подмигнет, да и прочь. Прокричат птицы, пронесутся низко и вот оно снова – темнота, лиловость, неумеренность. В земле ноги вязнут, по щиколотку уходят в почву.

– Так разве ж это примета, что посетуешь, и хуже станет? Не примета это – закон. Как за зимой весна.

Говорят, в этих краях жил вор, и был он ловким. Однако поначалу неброским. Где появится, что ни то пропадет, а не уловишь. И так ходили, и эдак смотрели, любой догадался, но вора не взять – не обыщешь, а на глаза не попало ничто. Да и лень.

Он богател сначала немного, а после стал всяко свой дом украшать. До того дошел, козе колокольчик повесил на шею – из золота.

Где краденое хранил вор, куда сбывал – про то не знал никто. Но только у кого что исчезнет, так вскоре у вора новый набалдашник на заборе, и вот вся изгородь, как у разбойников головами людскими, разными трофеями блестит.

Вор ходил по селу – никому не друг, щеки дул, голова поверху. Но нет-нет возьмет да подвезет кого в своей телеге – хоть сзади, хоть сбоку. Или денег в долг даст. А то и подарит что, скажет: «бери, бери», а потом туда-сюда головой крутит, смотрит: заметили? Видел кто?

Думали было мужики его побить или подколоть – мол, наше нам отдаст, а будто личным жалует. Но бабы остановили, сказали: «Проходил деревней Старец, спросили. Колоть не велел. Все же вор-то с людьми делится. Да и драки ваши вечные. Сказал, сам сдуется. Вот и посмотрим, каков будет про то Божий-то указ».

Так и жил вор, что ни шаг, набирался. Пышнел. Про любой горох говорил: «Эх, как дорого!», любимое у него было слово. По вечерам выходил вор из дома и смотрел в небо. «Как ярко блестят мои звезды!» – говорил он и улыбался своей козе, а люди шли мимо. Ждали молча, что Бог скажет.

Как-то раз уже поседевший вор решил послушать, как его похвалят люди. Он-то ли не богат? Он-то ли не добр, раз богат? Он ли не умен, раз добр? Он-то ли не красив, раз умен?

И позвал вор к себе всех, у кого воровал.

Люди отправились. Вспоминали потом, как сейчас: в тот день молчали птицы, хоть небо стояло высоко, зазывно. Шли гурьбой и головами крутили с привычкой все примечать, но ни одного крыла не застали в дороге. Даже из кустов не шелестнуло. Подумали: «Это к чему?» и пошли дальше.

Пришли. У вора на столе зело брашно. И вроде отведать хотели люди, но как-то не взялось. Ждали чего-то, хоть никто никому об этом даже головой не кивнул.

– Ну! – поднял глаза вор. – Я вас позвал, чтобы вы все сказали мне, каков я молодец перед вами. Я нажил добра, я украсил свой дом. Одежды мои прочнее всех, и сам я хорош.

А люди молчат. Сначала на стол глаза расширяли, а тут как будто и голод им не знаком, не глядят на еду.

– Что же вы молчите? – вор спрашивает. – Помогал я вам, не померли вы, а могли.

– Помогал, как не помогать, вор-батюшка, – сказала тут одна сердобольная и осеклась. Так посмотрели на нее миром: молчи сейчас.

– Может, вы скромные? – озадачился вор. – Так без конфуза говорите совместно, как любите меня! – и ну кафтан на животе расправлять.

– А ты-то нас любишь ли? – спросил старый.

Вор не ожидал, не нашел ответа.

– То-то и оно, что любви ждешь, а сам в себя всю жизнь любишься, – сказал еще один, древний.

– Ты крал, думал – хитрый, собой гордился. А мы ведали, да не мешали. Хотели знать, как управит тебя Господь. Или не простит, таким и отправишься.

Помолчал вор, подумал. Не ожидал.

– Значит, не любите? – спросил только.

Повернулись гости да и ушли один за другим. Та же, что его пожалела, помедлила в стороне. В дверях сказала:

– Ты бы, вор-батюшка, с козы своей колоколец-то снял. Глядишь, и простят тебя люди, а иначе-то Богу тебя простить с чего?

С тем и закрыла за собой дверь.

– И что? – спросили рассказчика. – На том все и кончилось?

– На том и кончилось, – ответил.

– Так не бывает! – сказал один. – По правде если, так его либо побили бы, либо прогнали вон. И давно, не в тот раз.

– А птиц-то, птиц-то сегодня в небе! – заметил другой.

– Бывает, как не быть, – рассказчик развел седые брови. – Побили б, если б не Бог. Так ведь видели, Бог не бил, ожидая.

– И чего ожидать?

– Пока сдуется.

– Сдулся ли?

– Как не сдуться, когда не любит никто, не хвалит? Сдулся, обмяк с годами. Перед смертью покался.

– А люди что?

– А что люди? Люди у нас, ежели не лютуют, одинаково добрые. Сказали:

– Выходит, ты наше нам же на черный день припасал, так и помирай с миром. Вспомянем тебя с любовью, теперь уж что.

И когда помер вор, птиц налетело, как сейчас. Падали с неба, сложив крылья, и снова ввысь. Мол, не дуйся, если подняться хочешь, а то не птицей взлетишь.

– А чем?

– Пузырем.

– А почему одни птицы высоко, а другие в небе низко?

– Каждая птица в свой час припадет к земле, а уж с каких небес ей лететь, про то Бог знает.

Ночью минувшей на небе ни звезды не нашлось, все тучи съели. А поутру солнце палит, и роса ранняя втянулась скоро. Вышли на улицу – сухая трава! У соседского дома свинья под забором валяется да о колья почесывается. Огромная, пятнистая свинья.

Глядь, облака, и те разлеглись окатисто. То ли ветер подует, то ли тучные подушки разбросали свои перья, вот они никак и не долетят до пристанища. Потерялись пушинки, как птицы построились – дом искать.

За дальним забором – дикие цветы по всему полю. Поднялись на глазах, расцвели малиновым цветом, колючками раздались. Смотришь, удался наряд репейника, но не возьмешь в руки, не принесешь в дом – шипы.

Если идти по тропинке, услышишь, что поле гудит. Присмотришься – шмели: крупные, утробистые.

– А раньше, помню, все пчелы летали. Теперь почему-то их нет.

– Так пасек не стало, который год пустуют места. Тогда же и кур перевели, от пчелок, вишь, отказались, хоть и разбирали мед в три отжима.

– Почему так?

– А руки опустились, устал народ. Вот, помедлил немного лет, передохнул. В иных местах с земли урожай не всяк год берут, утомляется плодоносить земля. Как тут не замориться людям? Теперь, смотри, и стада крупней, и вон за тем поворотом в деревне первая пасека. Там и шмели, и пчелы. Но шмелей уже меньше.

Слышу:

– Значит, все временно? И снова будут стада и куры?

– Будут, как не быть. И пчелкам работа найдется, люди-то, вон, заскучали уже. Да и поля у нас с клевером такой дают мед, хоть одним им держись.

– А вот эти цветы?

– А эти с горечью, как полынь. Иные люди так же, смотришь – красиво, а лучше в стороне стоять, не приближаться.

– Зачем нужны цветы бесполезные? Вот сейчас на Косьму с Дамианом как раз все луга-то и выкосят.

– Косить пора, правда твоя. А людей бесполезных мало ли? У Бога спроси.

– Кто это тут бесполезный? А до него дозовешься, до Бога вашего...

– Ромашковый мед не бери – пустоват. А спросить попробуй. Говорят, отвечает.

Ветерок задышал, и надулась парусом паутина в высоком углу. А потом закачалась, затрепетала, пришла к ней буря паутинная.

– Ты пауков не трогай. Уедешь, а им все сначала начинать.

– Людей так же жалеешь?

– А что люди? Все то же самое. Они для себя, а кто их сметет, тот враг.

– Говорили, будет покос. А вон там, за рекой, смотри, какой луг.

– То не луг, то поле. Оно под овсом стоит. Овес сейчас в полроста всего. Расти и расти.

Ни дня без дождя. Сыреет округа. Неподалеку дом так же дыряв, да еще и пол провалился, в землю утянуло. Зато крыша крепка. Земля там холеной была, пока хозяева не ушли.

Жили себе, корову держали, что ни год, теленка откармливали – детям на зиму мяса впрок. Дети в городе зажили по моде, там-сям купят, а с мясом возня. Плакали старики.

– Ты, когда тебе бабка или дед старье суют, бери, не обижай. Дать детям – всегда радость, а что у них еще?

– Очень надо хлама ихнего! Буду старым, ничего не запасу, пусть мои дети сами.

– А что лучше, совать старье ненужное или вообще ничего не давать детям?

– За старье тебя потом добром вспомнят, когда сами начнут. Совать, значит. Ничего не дашь, тебя и вспомнить нечем.

– И как теперь с домом?

– Теперь умрет.

– А старики что?

– Как не стали дети с огорода брать да мясу радоваться, так и померли один за другим.

– А дети?

– Что дети. Решили: час пришел. Сами состарятся, теленка заведут. Для своих детей.

– Так сказали?

– Еще не знают.

– А что у вас конь головой трусит? Да вон, будто в небо заглядывает.

– Это к дождю.

Льет мелкий дождь, ветер сильнее дует. Вороны все клювами на закат повернулись. Солнце садится в облако. Пауки скорбят по своей добыче – плохо оплели. Пустая качается паутина в углу, дырками темнеет. Мертвыми улетели мухи, рассыпались в пыль, летя.

Людская цена иным припасам.

Участок во впадине, а за ним, на взгорке, – поле. Если стоять рядом с домом, то кажется, будто стадо коров бредет по кромке сетчатого забора – как в детском театре кукол. Горячее солнце и холодный ветер спорят между собой о настроении жителей деревни. Греться под солнцем людям или от ветра одеться теплее?

– А как полоскать белье?

– В трех водах, воды не жалей. А потом под ветер на солнце.

– А если солнца не будет?

– Ветер высушит.

– Ага, мне мать тоже так говорит: «Друг не научит, так враг научит».

– Это ветер, что ли? Нашел врага.

Приложишь после к лицу полотенце, да так и стоишь, дышишь. Оторваться не можешь – вдыхаешь ветер.

– Видишь, дует куда? К реке. А облака как плывут?

– От реки.

– Раз поверху против ветра плывут, Опять к дождю. А на Авдотью дождь, все сено сгниет. И чем не враг?

– Мудра твоя мать.

Кот засел в кустах, всем вниманием на птичку. Птичка юркая, кот неповоротлив, а веток – чаша, не добраться никак. Но инстинкты сильны, и кот ломится за трясогузкой неуклюже. Наблюдаю.

– Вот они с котом носятся, иные с дитем не так.

– А что с них взять, они ж городские. У них на четвероногую живность в душах нехватка, как у нас на артистов.

– Тоже мне, заскучал. Артистов ему.

В другом кусте воробьи. Снова, заблудившись в ветках, кот приманивает клещей. А сторонний воробей трещит без умолку, как спортивный комментатор, предупреждает своих: «Центрфорвард застрял посередине поля!».

Соседи тоже нас обсуждают.

Клещ наконец поймал свою добычу. На смерть себе поймал, как бывает порой. Глажу кота по холке и чую. Не успев сообразить, выщипываю еще пустое брюхо клеща, но голова его остается внутри. Не выдавишь, хоть кот и терпит, только бьет задней лапой. Помучила и перестала, бесполезно, теперь надо просто ждать. Оглаживаю, утешаю.

– Ты мой муррр, – воркую я, – ты муррр, ти-муррр, тимуррр...

– Вашего кота зовут Тимур? – дети из-за забора.

– Точно, – киваю с серьезным видом. – Тумур Гурган.

– Раньше говорили иначе. А теперь курган какой-то.

– Ваша правда. Какой, неведомо.

– Может, он у вас волшебный?

– Может. Да, мы в него и правда, как в природу, смотримся.

– Это как?

– Так. И потом, когда мы в городе, рядом с нами живет утраченное.

– Так это же в городе! А тут?

– А тут в нем наша любовь.

Что это за крохотные зеленые птички меньше воробьев? И так у них все слажено, так изящно – и взлет, и посадка.

– А как же он теперь с клещом? – спрашивает тот, что говорил о друзьях и врагах, самый любопытный.

– Высушит и вытолкнет, организм молодой, справится.

– А вы говорили, на него клещ не сядет. Да только сел.

Снова с фермы запах молока. Накатывает тугими волнами, вдыхаю, дыхание задерживаю. Сказочно.

– Лучшим заграничным средством обрабатывали, потому и говорили.

Так я всегда, во что верую, то и исповедую.

– Жаль, травница слегла, а то набрала бы вам травки, помазали бы, да и вышел клещ.

– Слегла?

Ночи такие густые. Завершив дела, вряд ли уже стоит разгуливать по дорогам. Того и гляди, упадешь, споткнешься о кочку и провалишься в канаву. А утра разряженные, матовые – так и манят. Воздух подрагивает, мешается с туманом. Так и кажется, что невидимые руки сливают свои волшебные составы будущего дня в огромную чашу неба, и они смешиваются, медленно заворачиваются в прозрачные спирали.

Молодой народ еще спит, подергивает во сне лапками собачка, даже кот, едва приподняв голову, снова расслабляется, проурчав. Глаза его заволакиваются пленкой. Никого не тревожит, что я ухожу.

Через поле короче, но слишком уж росно. А дорога так и кажется, что проглотит ноги. Туман стелется по земле, скрывает от подслеповатых глаз изрытую землю. Иду, щупая шаги.

Шумным дыханием обдаёт спину огромный пес, бегущий явно по делу. Не успеваю испугаться, а он уже исчез за поворотом к кладбищу. Вот и дом травницы.

– Как же вы теперь будете?

– Что ты, милая, все «выкаешь», так ли между нами много лет... Буду сколько велено, как не быть. А ты что? Продолжения ждешь?

– Принесла вот пудинг рисовый.

– Добро. Сразу и съем.

Сажусь, а она рассказывает:

– Помню, как приехали мы в город, встретила нас подруга мужа моего – из дальней его родни. Мы вошли, оглядела она сорванцов, мой живот, засмеялась, потом покрутила пальцем у виска, сказала городские слова. Это получилось так просто, что я тоже улыбнулась в ответ, поздоровалась. С тех пор мы были – не разлей вода. Она мне с детьми помогала, я лечила ее травами, а уж позже, когда говорить стала, наши сибирские истории рассказывала. Но самое главное, слушала я ее рассказы, и она говорила, что у меня есть способность слушать, и что какую бы глупость она мне ни поведала, всегда себя чувствовала так, будто делится главным откровением жизни. Мы стали как сестры и даже ближе. Хороший пудинг, смотрю, с изюмом.

– Кушайте, кушайте.

– Дети мои росли нелегко. Мальчишки народ упрямый, пока маленькие – все к матери, а как вырастут, женщину слушать не хотят, им уже курица не птица. Отец завяз в своих схемах, и вот однажды наш старший крепко выпил и ввязался в драку. За мной прибежали, бьют твоего во дворе, говорят. Я понеслась в чем была, хорошо хоть в штанах городских, не в платье, а то как бы мне подниматься? Смотрю, а их четверо на одного, и бьют его ногами, а он уже не шевелится. И вот тут, единственный раз в жизни, когда Духу-то вроде прохода через мою душу быть не могло никак, я при людях и поднялась. Да так высоко, как прежде не случалось. Взлетела прямо над ними, и сверху словно запела. Это я так хотела закричать, но голос наружу вышел и вдруг расширился, как будто вместо меня целый хор. Архаровцы эти подняли головы

и обомлели. Я же оставалась над их головами, и голос сначала расширялся, а потом стал истончаться. Тогда они заорали страшно, морды руками позакрывали и бежать. Мой голос сразу завершился, я опустилась медленно, как будто только и делаю, что поднимаюсь. Склонилась к нему: «Жив, сынок?».

Это ли его перевернуло, побои ли надолго запомнил, а вот не пил он больше. Первые-то годы вообще в рот не брал, а возмужал, так в праздник позволял рюмочку. Да и то чтоб не отличаться.

– А вы-то поднимались потом?

– «Вы-то». Мирно все потом шло, а к чему себя попусту к небу цеплять? Хотя и не от меня это все, а теперь-то я так думаю. Час настанет, так и подымусь, куда денусь. Жила, привыкла, не удивлялась, да и вообще ни разу не помню, чтоб другого желала, чем то, что пришло. Старший-то мой с тех пор мне во всем помогал. Так вот прожили мы жизнь.

– А теперь они где?

– Да кто где. Приедут вот, раз так. Да лучше б не ехали.

– А муж?

– Помер. Какое мне потом было небо. Ты вон там, на столе, траву возьми, насыпь по углам, как придешь.

Притолока низкая, взялась рукой – порог переступить. Окликает.

– Ты, если что, не тушуйся. Подняться не секрет, стоять работа. И навестила ты меня не ради клеща. А клещ отгниет.

Дорога обратная в растекшемся мареве, день раскрывается обещаниями. Иду, словно подарок несу. Рада, что руки пусты, в кармане пучок травы. Разве что не припомню, когда о клеще рассказывала. Порой язык так и бредет впереди памяти.

Маленький город неподалеку празднует свой день. Вот где Россия спешит показать свою удаль! Мы с гостями, нас снова много, и все молодежь. Не пойти ли на праздник?

А там гармонь не гармонь, сарафаны один другого краше. Ладно молодые, даже мы плясать, даром что возраст.

Вдруг ливень. Что за невозможное лето! Град летит отвесно, молотит, подскакивает, а в небе солнце, значит, можно под дерево, раз не гроза.

Жметя к животу теплом своим чей-то ребенок, так, что живот горит. Встаю покрепче, сутулюсь, как крышей закрываю спиной. Пять минут ливня, а мы насквозь, и снова музыка, песни, пляски. Вон там по луже топчет ногой, выдает «камаринского» мужик.

– Тебя зовут-то как?

Смотрит на меня снизу, улыбается. Называет мое имя.

Вот, думаю, прижмешь дитя пришлое, животу и тепло.

Девочка отстает, поднимает голову, глаза синего синей.

– Спасибо, я из-за вас не вымокла!

И по мокрой траве к отцу. Бежит, а брызги и комья земли из-под ног на голову.

– Почему тут так хорошо, так по-родному? А в больших городах хоть и пляшут, а все не так.

– Потому что тут нет никого случайного. Или жители местные, или как мы, знают, куда приехали.

Вот оно, лицо российской глубинки. Смотри и радуйся.

Наши насквозь мокрые дети хотят кататься на лошадях. Вынимают сухие кофты из сумок, вытирают ими не себя – лошадиные седла. У всех лица – как это солнце в грозу, а один отжимает воду из майки. Снял и крутит, а мышцы на спине играют. Смеется.

Тут у царских палат выбирай себе костюмы богатые. Сколько хочешь ходи, красуйся. И снова мы все вместе, и царь-то у нас, и царица, и царевен молодых выводок. Смотрю, красота. Все мои. Наши.

Держава.

Дома белой картошки полный горшок. С маслом картошка, рассыпчатая. Укропом посыпана, а вот и зелень разная. Шашлыка навезли – тут и утка, и индейка, и свинина постная. Мне бы лучше не есть, любоваться достаточно.

– Ты поешь, поешь. А то радость не полная.

Едим, пьем вино на улице. Приходим в дом, вдруг раз – гаснет свет. Зажигаем свечи. Поем песни русские далеко за полночь.

Открываю дверь в сени, а там чужой. Рыжий, крупный, кряжистый. А наш-то не знает других котов, как бы не вышло драки.

– Кыш, – гоню, машу тряпкой.

А он ни с места. Голову набок: «Мяу!».

Зову своих. Гоните залетного от греха, наш мирный, домашний, по породе доверчивый, а этот вон – с одной стороны вместо одного уха – два в лоскутах, он и нашего располосует.

Шикнули, кот развернулся, и впрямь большой. Удрал на чердак.

Беспокоюсь, что будет.

– Ничего, слезет.

На следующий день с утра орет кот сверху благим матом. Говорю, что ж вы чердак закрыли, так он там и сидит.

Пораскрывали все двери, вроде прогнали рыжего. Как уходил, не видал никто, но больше с чердака ни звука.

Через неделю хожу по участку за своим котом. Он лягушек гоняет, и вот одна кричит надсадно.

– Какой он у вас, до чего хорош! Да и вы за ним ходите, все видят. А вон у дальних соседей кот пропал рыжий. Они уж плакали, плакали. Но так не пасли, вот он и убежал.

– К нам приходил на той неделе, еле прогнали, – говорю, а сама в тревоге. Точно ли ушел с нашего чердака кот?

Иду домой, своего несу, к себе прижимаю. Мужу говорю:

– Полезай на чердак, вдруг он там? А по нему плачут.

Полез, проверил. Насыпал песка на все столы с чердака сквозь щели, пока по потолку топал.

– Нет там его, пусто.

Ну, нет так нет. Но нет и покоя. Домашний, значит, был кот, а я... Наваляла, матушка, себе говорю. Нехорошо сделала.

Смотрю через реку. Может, покажется Старец, даст знак. Но нет, опять плывет марево.

Тут как раз выпал день стрекоз. Парами летают, сомкнута. Ни отдыха им, ни развернуться.

– Это они что делают?

– Мучаются, – глажу внука по голове.

– А мама сказала, они так любовью занимаются.

– Вот и я про то.

Загудел магазин, из домов потекли люди. В магазине новшество – первым делом на траву раскладушку поставили. А уж на нее товар.

– Раскладушка! Чего только ни придумают!

Кручу головой, смотрю, где та, что рассказывала о коте. Нашла и спрашиваю: у кого пропал рыжий кот? Тут вся очередь в возмущении, рыжий этот ко всем ходит, гнать его – не выгнать. Сегодня опять кричать пришлось, только тогда ушел в елки.

– А пропал какой?

– А пропал белый с темным пятном на спине. Он уж месяц не ел, умирать ушел, видно.

Иду домой и первым делом к мужу. Он по двору ходит, темнеет лицом. На крышу поглядывает.

– Рыжий кот жив, всю деревню замучил! – сообщаю радостно. – А пропал другой, старый, белого цвета.

Смотрит на меня и улыбается.

– Не взяли греха на душу.

Смотрю на другой берег, Старец там. Или привиделось.

А вот еще городок – не жизнь, а сказка. Палаты купеческие, тут станки для льна, тут гончарный круг – иди, учись, а вон там валяют валенки. Дома с резными ставнями, через дом – музей. Здесь говорят о резьбе по дереву, тут о ремеслах иных, а вот вдруг – о мышах, каких только свет не видывал.

Заходишь в усадьбу – там царский трон. А на троне мышь в рост человеческий. Выходит девка дворовая:

– Добро пожаловать в сырную комнату!

Праздник гостям – дорога сюда, радость гостям – тут пребывание.

А на пристани торговые ряды от товаров ломаются. И ягоды лесные, и грибы, и рыба копченая.

Дождь лил, но вот солнце луч бросило на столы, засветила рыба золотом.

– Это что?

– Это сом-налим. А вот терпуг, не пожалеете. Судака, чур, не пропускать, он тут басенный! А угря, угря не желаете? Стерлядочку!

Идем под дождем, что ни дом – усадьба, нет зонтов, мокнем как есть, а все улыбаемся.

Приезжаем домой, накрываем стол. Рыба так просто светится. Начинаем есть, и слезы в глазах: ничего вкуснее не пробовали!

– А я думала, тут так: утро, вечер, да и ладно.

– Вот как раз хорошо, если можешь так. Оно не каждому по силам, чтобы снаружи не черпать, чтобы жить внутренним. Зато кому по силам, тому и Старец открывается.

– А сейчас?

– Сейчас нет. Сытых нас он сторонится, если говорит, то с прозрачными.

Ай, рыба хороша! Доели, облизали пальчики.

– А сказку расскажешь мне?

Засыпает, я шепчу ему на ухо.

Утро настолько мрачное и удушливое, что сомневаюсь: неужели и правда будет солнечно? Но деревенские обещали жару, им не верить нельзя никак. Опять гуляю с котом, соседи потешаются, а я отмахиваюсь и на небо посматриваю – от восхода серым-серо. Вдруг с запада синяя полоса пошла расширяться, захватывать небо у туч, отвоевывать ясный день.

– Ну, почему ваш кот не гуляет один?

– Не любит, он привык, чтобы рядом были люди.

– Разве такие коты бывают? Ваш точно волшебный, это не вы его, это он вас за слуг держит!

Кот уже снова перед кустом, и вновь я слышу знакомый треск сидящего наверху воробья. Вот уж кому все видно – и ловец, и ловитва.

Решаю для себя, что трещит тот самый воробей, которого муж назвал «спортивным комментатором». Может быть, конечно, их несколько, но все же только один сидит в сторонке и предупреждает своих на разные голоса о том, что неподалеку опасный зверь. Кот ближе, и сказ у воробья другой, меняет интонации, звуки новые издает.

Стадо снова по соседству в поле, овечки немного поодаль. Несколько коров отделились и притерлись к забору, щиплют нехоженую траву вдоль колышков. К ним и другие потекли, вот-вот повалят старый забор. Но хлыст пастуха и тут же голос – ревет пастух страшным ревом, два слова так произносит. По матушке. Этим кличем коров называет, и они понимают, с неохотой отходят от зеленой каймы под забором, бредут на желтое поле.

Только одни отошли – другие решили забор опробовать. И снова пастух те же два слова кричит и раскалывает хлыстом воздух. Собирается стадо в кучу и бредет.

Тут к пастуху идет одна местная, рукой машет, окликает по батюшке. Смотрю – хлеба дает пастуху, кружку большую, видно, полную.

Вот ведь, думаю, и у нас так. Иные в небо, что ни слово, кричат по матушке, а к ним с почтением, согласьем, да в землю – по батюшке.

А воробей речист. И так и эдак предупреждает сородичей о том, в какую сторону движется кот.

Для стада достаточно и двух слов. А для стаи не хватит речи.

Прежде у этих дорог было другое лицо. Едешь селами, а в каждом – обезглавленный храм. И тогда щемит душу так, что хоть сам умирай.

– Почему так? Здесь Бога забыли?

– Нет, люди Бога не забывают. Потеряли его.

– А что ж не зовут?

– Так пока не поняли.

Где храм стоит посередине села, где в сторонке у кладбища. Картина раньше была одна. Снятые колокольни, сколы стен, сиротство, бессмысленность.

Меня спрашивали:

– Про это говорят «мерзость запустения»?

– Разве тут мерзость? Печаль...

– А мерзость где?

– Мне в жизни не встретилась. Только сплошь печаль человеческая.

Бабочки яркие, как детские сны, порхают над могилами. Кругом кресты, чаще из дерева, редко увидишь крест каменный.

– А в городах не так, там могилы важные, постаменты для памяти.

– Не для памяти, нет. Не так.

– Как же?

Качаются, клонятся к оградкам золотые шары и лиловый дельфиниум. А вот тут цветы обновленные, однолетние. Куда ни посмотришь, везде следы рук, тут и там позаботились.

– Это чтоб память закрыть, как книгу прочитанную.

Прошлые годы, хоть и могилы убраны, а сердце щемит. Все из-за храмов обезглавленных. Как ни убирай надгробия, ни одно не глядит в небо, ни одно не просит восстания.

А в этом году вдоль дороги вдруг – вижу! Мужа прошу:

– Останови, сойду.

Храм в лесах. А я было думала: померещилось. Обошла для верности, голова вверх, шею рукой держу. Те же сколы, так же нет колокольни, но леса возвели, да вот еще справа свезли доски, сложили в штабели, сгрузили кирпич, балки металлические.

– Неужели нашли? Бога-то?

– Ищут.

Едем дальше и вновь – храм в лесах.

– А у нас в селе как? – спрашиваю.

– И у нас восстанавливается. Там табличка висит, к людям обращение. Кто хотел бы помочь, и телефонные номера.

– Съездим туда? Я хочу записать.

Вьется дорога от одного малого города к другому малому. Пятна нового асфальта, стрелки поворотов, по обочинам лес без бурелома, вычищен. При въезде в городок снова храм. Колокольню уже надстроили.

– Откуда музыка?

– Где?

– Да вот же хор. Ты прислушайся.

И, как было обещано, случилась жара. Вновь открыли окна в доме, вставили сетки, чтобы оттуда ни комара, и ни туда кот. Занавески недвижны, воздух завис, хоть разметай.

– Ох и чудны вы, люди из города. Кота пасете, словно корову, а молоко где?

– Вместо молока любовь, она ли не пища?

Над улицей облака перевернулись. Висят конусами, у каждого нос книзу. Странная картина, будто бы неземная. Вдруг налетели чайки, забили крыльями прямо над нашим домом, и воздух зарябил, ожил, конусы пошли трещинами, разрядились и давай осколками вверх взлетать.

– Ии-йя! Ии-йя! – чайки кричат. Зовут ветер.

– Смотрите, смотрите, комар зеленый, я убил зеленого комара!

– И я!

– И меня сплошь обсидели, уже всю руку об них отбила.

– А меня даже зеленые не едят, я невкусная...

– Зато на тебя парни глядят, слюнки пускают!

Ухожу, чтобы не видеть лица той, которой досталось много комаров.

– Ии-йя! – чайки совсем низко, согнали с березы сорок.

– Выходите на улицу, зеленые комары кончились!

– Как кончились?

– А так, глядите сами! Были-были, и нет.

Выхожу. И правда – ни комаров, ни чаек. Ни стрекоз вчерашних. Вместо них по сетке забора бегают те сами птички салатные, что поменьше воробьев. Может быть, кто-нибудь знает их название?

Больше ничего инопланетного. Участок раскидистым кажется, так потому, что уже почти весь выкошен.

– А это что за холмик? – мужа спрашиваю.

– Тут когда-то был муравейник.

– Но сейчас его нет. Почему ты его не срежешь?

– Муравейника-то точно нет. Но холмик растет! С каждым годом больше становится. Откуда я знаю, что там внутри. Начну резать, а вдруг?

И правда – а вдруг?

Иду и думаю, что такое мир сердца.

Растет у тебя на участке холм, уже полметра в высоту вырос. Взрослый мужчина даже копнуть его опасается, а я ни полслова наперекор. Сказать «все равно» – неправда. «Смешно» или «грустно» – неправда. Я думаю: пусть себе растет это странное. И пусть он это обходит. Пусть думает, что лучше не трогать, ведь он уже что-то построил в мыслях, чью-то бытность хранит. Я не стану нарушать его думы, если он ими обогащается.

Все-таки есть тут что-то неземное, хоть и улетели зеленые комары, хоть и тучи конусами раскололись и расплзаются. Этот холм, он тоже конусом, такой остроугольный конус из земли с хохолком травы наверху. Смотрю и думаю, что «а вдруг» порой куда интересней, чем взять и срезать. Ведь если срежешь, то станет ясно, что ничего. А так – вдруг. И вот уже у тебя под боком что-то важное.

Дороги выются среди лесов и полей, пересекаются реки «ничейными» мостиками, по которым машины ползут, огибая рытвины асфальта. До мостка есть хозяин у дороги и после мостка есть, а сам мосток никому не достался и вот, рассыпается на глазах.

– Ничего, найдется и ему хозяин, уже вон сколько мостков разобрали.

Разобрали не на доски, а по рукам. Ограды новые возвели, яркой краской покрасили, и летят мостки через речушки, хвалятся темным молодым асфальтом, новый век отсчитывают.

Вон там, справа, земля выпуклая, да и река вроде приподнятой кажется, стремится вверх всей гладью своей, от берега до берега вздымается над землей в середине, а к берегам подходит осторожно, припадает, чтоб собой не захлестнуть.

Неохватные небеса. А если сойти в близлежащий лесок, то под ногами россыпи ягод. Тут и земляника, и низкая малина. Ягоды у нее некрупные, но такие сладкие, что никак не уйти из леса. Тут можно вообще не двигаться. Протягивай руки и расцветивай душу свою яркими красками диких ягод.

– Что бы ты делала, если б тут жила? Не замечала бы?

– Не умею не замечать. А вот молилась бы крепче.

– Почему?

– Здесь видно дальше, нужно молиться крепче, чтоб охватить.

Ежевика еще не созрела, смеется зелеными гроздьями, дразнится: уедешь, а я вот она, во всей красе!

И хорошо, расти себе.

Вдоль дороги машины вдувают асфальт в щели. Раньше разбирали битые участки, а теперь не так. По щелям в каждую тонкую канавку и прореху льют новый асфальт тонкой струей, и дорога красуется причудливыми узорами, как шкура невиданного зверя.

Теперь этой дороге долго стоять. А вокруг такая красота, что немеешь.

– Там вон каких особняков настроили на холмах. Или вдоль реки – дворцы, не дома.

– И слава Богу. Сколько красоты краю добавили. Эти дворцы издали видны, смотришь, и сердце радуется.

Немыслимая ширь, неохватный мир. Хорошеет, исправляется земля русская.

– Кот снова просится, он теперь все время просится!

Кто про что, а я про кота. Это наша скотинка домашняя. Лапами скребет об обшитую дверь, до ручки дотягивается: отпусти!

А ведь как приучали, как мучились. Так детей говорить учат, а потом сами не рады, не зная, как на их вопросы отвечать.

Сначала он царапался, топорщился, всеми способами ужас выказывал, но мы с упорством несли его из дома вновь и вновь. И он наконец распознал, что по ту сторону стен тоже есть жизнь. Теперь оставаться внутри ему стало неинтересно, и он, напрягая горло и наши нервы, снова и снова сквозь муки лезет вон, рождается на улицу, в мир внешний.

Кот у нас – обстоятельный меланхолик. Вечно он ходит по зигзагу – хвост влево, нос вправо, длинное туловище волной. Но тут, познав свободу пятнадцати соток, он меняется до неузнаваемости. Посмотреть со стороны – дикий зверь, такая у него горделивая походка, настолько широкая грудь. Ему кажется, он владеет этим миром, он независим, высокомерен и увесист в каждом шаге своем. Но этот холеный увалень даже представить не может, что умеет

лазить по деревьям, и что сетчатый забор для него не преграда. Думает, что в полной мере постиг мир. Ходит, гордится.

Вспоминаю жизнь свою, на него глядя. Сколько раз так было – только загордишься, да тут и познаешь забор.

Вдруг – ласточки с криком. Одна, другая, пикируют низко, почти касаются крыльями холки кота. И он пригибается, вжимается в землю, уши поворачивает назад, даже шерсть словно пристаёт к туловищу, не пушится клубом.

– Смотри, как странно! Ласточки на кота, никогда такого не видели!

– У ласточек сегодня птенцы первый раз вылетели из гнезда! Почти совсем не летают, так, над землей. Вот мать и кружится.

– Вон оно что! Так тут две кружились, над котом. Которая мать?

– А их куда больше, не одна! Тут со всех гнезд матери слетелись, первых птенцов сгонять.

Кот лезет под лавку и сидит там, поджав уши. А на нижних ветках рябины прыгают и трещат птенцы. Они первооткрыватели мира, им внимание и забота. Их матери, видимо, что-то коту сказали, вот он и жмет пузо к земле, вылезти не смеет. Кто решится пойти против материнского гнева?

Смотрю и думаю: где вы, матери российские?

Утро такое ясное, летнее. Призабыв, что кончается июль, радуемся: лето!

Где-то у облепихи стучит дятел. Облепиха эта – три дерева, и все мальчики. Прилетели от старой матушки с соседнего участка, а вскоре она сломалась, распалась на щепки стволом. Мы радуемся, что у нас – мальчики. Ягод облепиховых мы не любим, а деревья выросли быстро. Добавили красоты.

Иду посмотреть, а дятел перелетает и на вишню. Сидит, красуется.

– Ох, до чего ты хорош, такой праздничный, нарядный! – я его хвалю, а меня зовут.

– Поехали, посмотрим, что там с храмом.

Садимся, едем. Это недалеко, дорога без асфальта, тракторами развороченная, сельская. Подъезжаем, иду объявление читать.

«Восстанавливается храм, звонить...» и телефоны местные. Смотрю, а у входа окошки новые, и сколов на стенах нет, почти полностью выровняли. Иду к входу, по ступенькам поднимаюсь.

Двери открылись, навстречу – батюшка. Спрашиваю, отвечает, тоже свой телефон дает. Говорю, мы проездом, сейчас в город. А он войти приглашает.

Храм у реки, небольшая река, но живописная. Перламутром под солнцем светится, по берегу бродят утки, побрякивают.

А в храме от двери до амвона метра три, дальше перегородка и стена, между ними алтарь. Это бывшая колокольня. Иконы скромные, но все чинно, правильно. Только в прошлом году я входила сюда, внутри трава росла, деревца небольшие кривенькие, кусты проросли из стен. Балки висели с разбитой крыши, птицы гнезда вили, смотрело внутрь горестное небо.

Однажды, рассказывают, кто-то догадался крепкие балки вынуть и к своему двору прибрать. Так убило его первой же. С тех пор сельчане внутрь стен под открытое небо входить боялись.

– А теперь как?

– Отслужили молебен, стали разбирать под реконструкцию. Тихо все, спокойно, храм будто балки сам отдает.

По-хозяйски осматривает молодой иеромонах свое владение.

– Идет народ?

– Пошел. В соседнем селе храм восстановили, там уж и колокольня, и купола. Только людей мало. А у нас ничего нет, зато люди.

Видела я или померещилось в пути, только упали лучи солнечные на старый храм так, что все засияло, будто и впрямь отразилось от золота.

– Будет у вас колоколья, будут купола. Мы поедем сейчас, но еще вернемся, батюшка.

– Приходите на службу завтра! К девяти!

Кланяюсь.

Дорога до города ровная, дыры все залатаны. Вокруг синева и кромка белопенная, облака вдоль горизонта одно перед другим красуются. Открываю окно, ветер гладит лицо, горят от солнца сухие щеки.

Иду по улочке старого русского города, с другом старинным говорю мысленно. Много лет назад я его навещала в ином, европейском краю. Он мне показывал город, столицу богатой страны, хвалился, что там живет.

– Смотри, – сказал тогда, – банкоматы на каждом углу. А в России это все невозможно. Разобьют сразу же.

Маленький городок, двухэтажные домики вдоль улиц. Первые этажи в камне, повыше срубы. Окна – где как, то резные, а то новые. Заборы в траве, из-за изгородей цветы. Горожане идут медленно, ведут детей.

Подхожу, вон он тут – банкомат. Стоит домик под деревом, укрыт тенью, от двери справа ниша. Нужны деньги? Подходи и бери.

– Не прав ты был, – говорю старому другу. – Видишь, возможно и у нас ваше все. Будешь ли ты с нами радоваться?

И сразу обратно, к храму. Леса на просвет – все березовые. Поля под овсом, ему еще расти. И рожь поднялась. Стада.

Смотрю, не могу наглядеться.

Вспоминаю. Лет пятнадцать назад и в городке стояли мертвые храмы. Обезглавленные, разрушенные, а иные без стен. Посреди улицы стена – в память, что раньше иначе было.

Теперь купола один к одному. Над разливом реки у старой плотины весь берег в живых церквях. Машины ползут едва, а церкви любят свою землю, хоромы под небом ведут, поют колокольными, дышат.

Женщина повязывает платок, крестится, девочку берет за руку, входит в храм, а мы проезжаем мимо. Хочу сойти, потрогать стены руками, но это в другой день, когда надолго приедем в город.

Выехали из городка, машина набрала скорость. Не я у руля, поэтому мое небо, а не рытвины пути, которых залатать еще не успели.

Только что было тихо, и вдруг ветер проснулся. И сразу погнал облака. Они вспушились и понеслись вприпрыжку, как белые кролики.

Дальше – узкая лесная дорога. Мне кажется, я слышу голос каждого дерева у обочины. На заднем сиденье машины сижу, закрыв глаза. И, словно не закрывала, вижу эти леса, реки, облака волшебные.

– Говорят, опять леса горят, я слышал, пожары огромны.

– Скоро вернутся лесники, спросят у лесов, как их спасти.

– Успеют?

Сломанная сосна склонила крону так, чтобы не перегородить дороги. Видно, молния ударила недавно, потому что еще зелена крона. Сосна раскидистая, чуть выступила вперед, оставив свой лес сзади, и вот подхватить оказалось некому.

– Успели спасти храмы, и леса успеют.

– Смотри, а вот же он, батюшка перед храмом. И с ним мальчишки, женщины.

Муж не выходит из машины, я одна вышла. А они уже машут руками:

– Вернулись?

Иеромонах идет со мной в храм, пропускает первой. Вхожу, крестясь, отдаю, что принесла.

– Напишите своих, оставьте записки, – говорит он и берет из моих рук, откладывает в сторонку.

– У меня много. Детей, внуков, крестников, близких – важных.

– Пишите всех, – говорит. – А друзья есть? – И сам отвечает: – Есть, как не быть. Пишите всех друзей. Да усопших, усопших своих не забудьте.

Пишу, присев к низкому столику.

– А у нас в храме пчелы живут! – с радостью делится.

– Появились в округе пасеки?

– Одна далеко, а эти, видно, отбились, да в нишу, в стену – жить. Вот, стоит храм, и пчелы свои внутри.

Глаза прикрыла на миг и вдруг увидела, будто река передо мной, а на другом берегу Старец. Стоит, кивает медленно. Чуть улыбается.

– Благодать, батюшка.

– И то. Написали всех?

Написала всех, чьи имена вспомнила. Каждому будто в глаза заглянула, а потом только имя вывела.

Киваю.

– А наверху над крестом напишите – от кого.

– Как? – не понимаю. С таким не встречалась.

– Так и пишите: «от» и имя.

Добавляю в каждой листке, протягиваю. Он записки мои берет, перед грудью держит. Молодой, строгий. Ясный.

– О вас, обо всех, кто здесь, – и чуть вверх руку с листками, – молиться буду, пока я жив. Сейчас и не вспомню, когда на моих глазах в последний раз выступали слезы.

Слышу пчелу. И вроде хочу отмахнуть, а знаю, нельзя. Стою смирно, жду, пока глаза высохнут. Пчела ползет по голой руке. Любуюсь молодым лицом иеромонаха, как своей личной гордостью. Глядит серьезно, вглядывается. Спокойно стоит.

Пчела снялась, а я кланяюсь, уходя. Он мне вслед:

– Приходите на службу завтра. И помните: на каждой литургии в алтаре обо всех вас мои молитвы. Пожизненно!

Себя выношу, земли не чуя. Снова Старца за рекой вижу.

К ночи покой, мы одни. Разъехались дети. Воздух густой, хоть трогай руками. Все облака растворились в безветрии, звезды выходят.

Спускаюсь в траву, иду по росе. Шаги считаю, сколько их там, в длину земли.

Всю траву скосили, убрали. За дальней березой яма, закидали ее. Что делать ежам? Фыркают рядом с кучей. Но спешат по делам напрямик к сену. После нашего ужина там для них угощение.

За оградой крупные крылья, может, сова. Большой корабль проходит по главной реке, светит огнями. Есть еще река неглавная, по ней только лодочки.

В небо смотрю, а там россыпь. Северные звезды как будто круги в небесах пишут. Ниже, выше, крупнее. Вспышка, еще. Тихо. Небо вершит свою тайну.

Словно со мной те листки, что я отдала монаху, в лица смотрю и думаю, что теперь хорошо, хорошо будет. Детям, крестникам, внукам. Той, что так ждет ребенка. Той, что

не хочет бороться. Той, что так страшно устала. Тому, кто не может решиться. Той, что отчаялась верить. Тому, кто сбилсЯ со счета.

– Видишь, – говорю последней, которая обманулась, и ее поглотил сумрак. – Теперь он будет молиться. Бог даст, тебя он отмолит.

Сова вернулась с криком. Сидит на заборе и вдруг – раз – топорщит крылья. Голову вниз, вид сердитый. Наверно, я ей мешаю.

Не наступить на ежа. Иду готовиться к службе, а ночь сове оставляю. И правда, скоро двенадцать.

Утро встречаю рано. Кот свесил с подоконника лапы, да и день еще не проснулся, тянет прохладу ночи, сквозь окна ее пропускает.

А дом просто пронизан теплом, столько ему уже лет, а пахнет как новый. Дом пахнет, как будто вовсе тут нет никакого дома и спали мы прямо в поле.

– Доброе утро, куда так рано?

С людьми не так, как с природой.

– В храм на службу, с добрым!

– А мы не ходим в храм. Только вот когда гроза, крестимся.

– Но ведь хочется вам пойти?

– Так вроде и хочется... Да вот, все дела.

Вдоль дороги мать-мачеха, росой умытая. По деревне, полем, через овраг, – и вот большое село. Иду молча, даже внутри молчу.

На клиросе двое учатся петь, не знают они ни слов, ни нот. Шесть женщин, девочка, мальчик – всего прихожан в храме. Потому и всенощную тут не служат пока, что прихожане петь не обучены.

– Именем Господним благослови, отче...

Начинается служба. Через несколько минут забываюсь и берусь тихонько подпевать двум женщинам. Одна оборачивается и делает знак рукой. Встаю рядом. Нужно слушать мелодии, слова я все знаю.

Петь в службу – другая молитва. Я чувствую, что она вершится, но это не то, к чему я привыкла. И вот новое проникает в меня, и я начинаю наполняться изнутри.

Сколько может душа плодоносить?

Покуда жива.

Пою и думаю: нельзя было без благословения. Но батюшка выходит, смотрит и тут же поднимает руку, крестит меня. И я продолжаю петь.

Тихо потрескивают свечи. Где-то гудят пчелы, но ни одной не видно. Птицы прыгают за окном, касаясь крыльями стекол. Шелестят платья женщин. Иеромонах молится в алтаре.

Слышу свои имена, те, что писала в записках. Трижды называет каждое имя иеромонах. Мужа, детей, крестников, внуков. Той, что так жаждет ребенка. Той, что не хочет бороться. Той, что так страшно устала. Того, что не может решиться. Той, что отчаялась верить. Того, кто сбилсЯ со счета. И той, что так обманулась, и ее поглотил сумрак.

Отдаю земные поклоны.

Из алтаря летят пчелы. Звучит херувимская песня. От земного с ней отрешаюсь, пою, отложив попеченья. Но слышу – поют и птицы, стучат клювами в окна. Когда же мне на затылок садится пчела, я чую, что тут и орел, и лев, и вол и евангелист.

Служба кончилась. Отдаю батюшке книги, которые принесла для детской библиотеки. И икону, одну из самых красивых, что у меня была.

– Я повешу ее в алтаре, – говорит иеромонах, целуя образ.

А я смотрю – все пчелы снова там.

– Приезжайте к нам жить, – говорит он. – От села вам дом поставят. Будете книги читать детям. Некому тут с детьми.

Читать книги детям. Сколько их я перечитала. А он говорит, рассказывает:

– Я педагог, я десять лет с детьми работал. Но тут так много другой работы, все с нуля, я не успеваю.

Смотрю на выходящих из храма женщин. Искала я матерей российских, да вот же они.

Но где отцы?

Думаю: русские-то отцы горазды воевать да отдыхать. А молитва мирянина посередке. Вот бы нам всем в ту середину.

– Скоро Казанская Мати Божия. Приходите служить в ее честь. Казанская знаменательна, вслед за ней убирают рожь.

Та, с кем я пела, несет в храм полевые цветы. Меняет букеты.

– А вы там в книгах положили одну – «Паломничество на Святую Землю». Вы сами-то были?

Киваю. А в глазах иеромонаха такая вдруг грусть. Думает, видно: не бывать мне там, в Святой Земле.

Стою внизу, смотрю на реку. Лодка плывет, один гребец в ней. И птиц над берегом великое множество, весь воздух взбудоражили.

Иеромонах спускается по ступеням, но внезапно оступается и летит вниз. Выставляю вперед руки, хоть немного взять на себя. Он руками ко мне, а коленом на землю.

Склоняюсь, в тревоге себя забыв:

– Не ушибся, сынок?

Поднимает глаза, и вижу: отошла печаль, поборолась. Крестится.

– Да мне у реки будто кто-то в белом померещился. Благослови вас Господь, матушка.

Старец это был, думаю. Кто ж еще.

У дома муж поправляет забор. Просит прийти, побыть поблизости. Набираю тарелку творога, посыпаю черникой, поверх немного сахара. Черника только пошла, говорят, она начинается как раз, как пора снимать рожь. Молока кружку полную беру с собой. И выхожу во двор.

Ем понемногу, так, чтоб каждую ягодку чувствовать. С мужем разговариваю и смотрю, что в мире делается.

А в мире птичка нацелилась на некрупную бабочку. Бабочка перелетает, птичка с ветки липы следит за ней пристально. Наконец, бабочка села на траву, тут птичка – раз, летит вперед низко. Но между ними кот распластался в траве. Бросок – и лапа кота касается крылышка птички.

Бабочка улетела, ничего не заметив. Птичку как будто отбросило – не ожидала.

А я сижу и думаю: когда и я, словно глупая птичка, в охоте за малым не заметила страха большего?

Вкусен творог, прикрываю глаза. Сажу, покачиваясь.

– А правда, что вам вчера поп машину святил?

Киваю соседям.

– Что, так и благословил: «и возницу, и колесницу»?

И рассказывают соседям, что пришли к ним из дома напротив. А те дальше.

Вдруг бушевание крыльев – и с дальней березы в воздух вздымается стая птиц. На минуту закрыли небо.

А кот уже снова занят. Он встретил ребенка жабы и пихает его лапой. Жабенок не как лягушонок, он совсем не умеет прыгать. Дрожит квадратной головой, и так, дрожа, цепенеет. Бестолковый детеныш жабы не может ни бежать, ни драться. Надо кота из схватки изъять:

выходит не очень честно, и я его забираю. Иди – говорю – к ежонку, это будет куда интересней. Вон он бродит в углу, где сено.

Под березой растет волнушка, у нее крупная шляпка прикрыта желтым листком. Крыжовник в кольчуге колючек еще и оброс крапивой. Совсем как детеныш жабы, которому не убежать.

Если в плохую погоду сесть за руль машины, то даже чтобы поехать в село, начинаешь думать, как их оставить. Но отцу показалось, что он болен, вот он и роздал множество указаний. Сыновья взялись стучать молотками, дочери поленились ехать, а мне развлечение, я и собралась.

Машина ползет тихонько под низким небом. Нет, это не небо – взвесь. Лиловая взвесь, инопланетный клейстер из специальной картошки, в которой один йод, а крахмала совсем не осталось.

Какие странные чувства я переживала, глядя в окно машины... То вдруг у меня жизнь моя мелькать начинала страница за страницей, то по непонятной причине я засыпала на секунду, и вот пульсировала так: жизнь – сон. Жизнь-сон. Вся жизнь прошедшая. Хотя, что это я: «вся». Разве ж мне всю собрать. Я и части не соберу, хоть кажется, что огромная. Я ехала и думала, сколько же всего. И отчетливо понимала, что завершается некий этап. И с отпуском это не связано совершенно. Просто время вышло и надо перевернуть следующую страницу, а я никак. Потому и мелькает прошедшее, что я его веером перед собой расправляю, не имея решимости заглянуть в уже наступившее будущее.

Я думала, что обязательно опознаю нечто новое. Чувствовала, что должна. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из-под колес или замаячит утекающим зайцем, но я успею его рассмотреть.

Приехала в село, устала, словно полдня пути. Мужнину записку продавцу хозтоваров протянула, он в багажник машины что-то покидал, я расплатилась и спустилась к реке. И вдруг прямо на меня идут три пьяницы.

Похожие друг на друга как капли воды – двое мужчин и один немужчина, но сказать о нем, что он женщина, было бы трудно по облику. Разве что яркая красная куртка да желтый шарфик намекали, что под ними именно женщина, потерявшая свое лицо. Женщины, даже если они завершаются, все равно похитрей – вот она, увидев меня, и кивнула своим спутникам ободрительно, мол, идет тетка, точно что-нибудь даст.

Когда-то давно, когда была в моей жизни советница, учила она меня шагать по земле так, чтобы сильно не оступаться. И касались ее истории и серьезных вопросов мировоззрения, и мелких частностей поведения людей. Таких, например, как подаяние: кому, сколько, когда... Как.

О, это целая наука! Я и не попытаюсь ее раскрыть. Только двух моментов коснусь, кое-что объясняющих.

Первый – можно не подать просящему, но если ваши глаза встретились, и он попросил именно тебя, то пройти мимо плохо. Он к тебе послан, так она говорила. Не дашь – потом потеряешь больше.

Второй – не подавать «на пропой», это грех.

И как это все совмещать, она меня учила тоже.

А ведь в самом деле бывает, что кто-то тебе неприятен. Разве нет? И вот не хочешь ты этому человеку подать вообще ничего, дело-то не в деньгах. А бывает наоборот, еще издалека заметишь кого-то, уже и рука в сумку «сходила», и не пустая оттуда вернулась, а человек – раз! – и свернул в сторону. Не надо ему ничего от тебя. Именно ему именно от тебя не надо. Не по твою душу шел человек.

– Добавь немного, а? – протянула руку и коротко заглянула мне в лицо почти совсем не женщина в красной куртке с желтым шарфом. Ее спутники не приближались и лица моего взглядами не коснулись.

– Нет, – качнула я головой и прошла назад от реки.

Раньше я нередко встречала таких. Так уж сложилась жизнь, что пришлось. Они ведь похожи, эти женщины и эти мужчины, водка умеет до неузнаваемости изменять лица людей.

Нехорошо, греховно давать на пропой.

Я поднималась наискосок медленно. Троица стояла на берегу, в мою сторону они больше не смотрели. Эти люди зла в ответ на отказ не испытывают. Не дал так не дал. Но словно нет тебя.

Через два дома в селе – церковная лавка. Храм чуть подальше, он открыт не всегда, а тут постоянно дежурная матушка. В лавке весь день звучат песнопения, пахнет хорошим ладаном, свечи горят. Правильная, думаю, традиция, постепенно народ привыкнет и потянется.

С самого начала я знала, как только наши глаза встретились, что зайду сюда. Вошла, вдохнула запах и пошла к ящику для пожертвований. Перед тем как опустить туда бумажку, посмотрела на иконы и подумала: «Это за них, за тех трех. И за их детей, потому что, наверное, у них есть дети. Не обездоль, Господи...».

Села в машину, поехала домой потихонечку. Небо как небо, никаких мне задач, ничего недоделанного. И вышли меня встречать у ворот дорогие дети мои.

Много детей, как клавиши одного музыкального инструмента, взялись исполнять что-то внесезонное. Распевала песню младшенькая внучка, сыновья, такие высокие, перекрывали дверные проемы, девочки-жены, дочери мои, накрывали на стол, важным, нужным и вполне здоровым расхаживал всеобщий отец... Урчал кот, и было ему все равно, кто пришел, кто ушел и кого сколько времени не было.

Котам главное, чтобы был кто-то свой, этого им обычно достаточно.

Наутро жара такая, что растворились запахи трав. Пахнет одним солнцем, ничто не подмешано. Но я не иду на улицу. Сажу на восьмой ступеньке, той самой, что уже пол. Смотрю на паутину в высоком углу.

Ищу свое имя.

На улице стук.

– Что ты делаешь с сундуком?

– Я его собираю. Рассыпался.

Сундук живет в пристройке, хранит в себе ветки для растопки печи. Видно, и сам захотел в печь, так нет, пожалуйста в строй.

Зной. Из тени смотрю за реку. Нет Старца.

У имен, как у одежд, есть свои рассказы. Мое имя – о распятии, о том, что распахнутого не скрыть. Раскиданное оно, простертое, приговоренное. Такое имя – долгий крик. А по центру оно словно прибитое.

Распятия, видно, тоже бывают разные.

– А креста-то не носишь, – вчера в храме мне женщина говорит. – Что ж нет на тебе креста?

Нет на мне креста. Во мне крест.

Вчера вдоль дороги, смотрю, мужик молодой раздетый бежит, кровь свою перегнать старается. А чуть дальше старушка идет – в платочке, в кофточке. Кровь у нее уже и не движется, еле ползет, почти дошла. А старушка вовсе не печалится: пожила и ладно. Как кровь дойдет, так и Бог простит.

Мне бы имя прикрытое, чтоб хоть в нем передышку найти. Назвала бы мать, как хотела, Марфой, так я б не стыдилась. Назвал бы отец, как хотел, Жизнью, так я б не боялась. А так

живу, руки не поднять, любую стрелу встречаю сердцем. Раньше были такие подушки для игл, их прикрепляли к гвоздику. Висит на гвозде сердечко. Все иголками усыпано.

И хорошо. Все использовать по назначению правильно.

Благодатный край, жарко, даже птицы примолкли. Как называли, так и живу, как хотели, так и думаю.

– Принеси мне клюквенный сок?

Принес. Выпила.

Как ты красиво плетешь, паук, просто мастерски. Сколько я встречала таких паутин – крепко держится, не сметает никто, всяк побаивается. Вот и мы нашей паутины не трогаем. Не из страха, а из сочувствия.

– Здравствуйте! Можно нам к вам за яблоками?

Бегут мальчишки, корзинку тянут. Яблоки крупные, чуть вязкие, у каждого красный матовый бок.

– А вы почему не едите яблоки?

– Разве ж нам съесть столько-то? Вот и приглашаем помощников.

– А у нас еще друзья есть!

– Зовите всех.

Полный двор детей, все по яблоки. Яблони две всего у нас, обе старые. Росли рядом, а судьбы разные. Одна расщепилась стволом, ветви к земле прилегли, не яблоня – шатер. Вот на ней как раз яблоки красные, сладкие. Вторая с крепким стволом, одичалая. Стоит, другой не чета, красуется. Только плоды у нее горькие, ни на что не пригодные.

Киваю. Я в жизни такое видела.

Дети рядом собирают красные яблоки, а зелеными горькими друг в друга кидаются. Смеются и катаются по земле вместе с яблоками.

Имени не нашла. Раз так, слушаю свою кровь. Идет не спеша.

Река на зной не сетует, течет себе, нежится. Отогревается. Она – сама красота: манящая и каверзная, опасная и неизвестная. Говорят, жизнью она унесла, что ни век – свой счет.

Плыву неторопливо. Вода у берега чуть не горячая, а дальше, вглубь – разная. То теплом обдаст бока, то холодом, а то льдом, словно я в проруби.

Да вот еще водоросли. Будто кто-то со дна реки вдруг обнимет тебя, схватит за ногу, оплетет, потянет вниз. Но чем дальше плывешь, тем волшебней она, красота.

Берега местами пологие, а кое-где обрывистые. И деревья с обрывов растут, припадая к реке. Тянутся над водой березы, длинные, как навесные мосты. Только вот каждый мост такой ведет в никуда. А вон та осина с красной верхушкой склоняться даже не думала. Над гибкими деревьями стоит надзирателем.

– У нас к тому берегу столько машин приезжает с туристами! Только вот разбросают все, намусорят, ничего не приберут после себя. Это что за люди-то выросли!

Старушка стоит, рот поджат, руки на груди как узлом завязаны. Перед ней другая, приезжая.

– Ничего, поменяются со временем. А вы в церковь-то ходите?

– Нет, они уж не поменяются. А мы молиться и не обучены.

– Если матери не собирают, детям что остается? Разбрасывать.

Шутит со мной река, морочит ясным днем. Пугает ледяными потоками – невидимыми, глубинными, а потом ласкает теплом поверхностным. Небо над ней молочное, на другом берегу – марево.

– Дети наши-то уж в церковь пошли.

– Значит, их дети и соберут разбросанное.

– Выходит, после нас все?

– Выходит, это главное.

Плыву вдоль берега, голоса летят, а я смотрю в непрозрачную воду. Бывает краса далекая, только вблизи не то. Или обманная, или опасная. Но бывает другая, животворящая.

А по берегу расцветают лилии. Тянутся из глубины, поднимаются над водой чашечками и небу медленно раскрываются.

Растет красота будущая.

Прав был молодой иеромонах, есть у меня друзья. Поделилась с ними радостью, и они ее причаститься хотят. Поеду в городок, к тому ящику денежному, которого у нас и быть не должно, а вот на тебе.

Муж занят с утра, и правда, скоро отъезд. Еду в машине одна, отвыкла, побаиваюсь. Но вот полчаса всего – и освоилась. Как быстро вершатся наши переключения.

Туда и обратно – вот он, храм. Перед ним – доски новые, пленкой прикрыты, а сверху камнями придавлены. Идет иеромонах, издалека завидела, кланяюсь.

Заходим в храм, все отдаю. Передаю прошения. В храме тихо, он весь сейчас под бывшей колокольней, ему бы расшириться. Впрочем, тут и так благодать, пару лет назад ничего еще не было.

– Я хочу вашим друзьям икону подарить, – говорит батюшка, – чтобы их прошение исполнилось.

И мне выносит такую икону, что я смотрю, и даже ноги подкашиваются.

– Такая щедрость, батюшка!

– Вы и ваши друзья, если молитва вам нужна, звоните мне и днем и ночью, только если служу, не отвечу, так перезвоню потом, и буду молиться о вас.

Еду домой и думаю: сила неба в этом обещании.

Приехала, смотрю, жара всех по домам разогнала, даже синь, и ту выбелила. И вдруг звонок – звонит батюшка.

– Вам-то я забыл передать подарочек!

– Да мы и без того в благодати все!

– А что, если я заеду вечером?

– Так, может быть, и поужинаем?

Сижу на восьмой ступеньке, смотрю в небо сквозь прорехи крыши и радуюсь как-то виширь, словно землю руками обняла. Думаю, лицо у меня наверно сейчас глуповатое.

Улыбается муж, наряжается дом. К ужину к нам пожалует батюшка.

– Вечер добрый, соседи, пойдете ли за росой?

– А что это вдруг?

– Это день такой, день великих целебных рос. В этот день роса для глаз полезная.

Небо сегодня дивное, лазоревое. Ему не разыграться, не расписаться картинками заката – ушли облака, вот и поблескивает небо красками затейливо, едва проводив солнце. Розовая полоса прозрачна, за ней лазурь, кажется, будто весь горизонт состоит из прозрачных воздушных шаров, которые парят медленно, лениво сталкиваются и скатываются вниз или взлетают, как в детской игре.

У соседей пропал пес, похожий на пуделя белого цвета. Бегают, зовут, в малое село собираются. Вдруг подружку нашел?

– Тогда бесполезно звать кобеля, – соседка сокрушается и тут же снова выкликает свою собаку.

Часа два ищут, потом стихают. Кто-то сказал, мол, искать не надо, как ушел, так и вернется.

Думаю: иные и людей так не ищут, и правда – ушел и ушел. Кто смирился, а кто не испугался еще. Вот и бездействуют.

– Сегодня выше сорока жара была.

– Ненадолго.

– Сказали?

– А что говорить. На пороге август.

И правда, скоро август. Да и отпуск наш на исходе. Сегодняшний вечер, завтра день – пора и честь знать.

Приготовила угощение, стол накрыла, украсила.

Полулежа покачиваюсь на качелях, любуюсь на лазоревые небесные шары, жара еще днем над рекой их надула в воздухе, и в них отражаются и лес, и сама река, как будто в небо опрокинулся мир. Сейчас шары немного поблекли, но еще яркие, разве что приспустились слегка, приблизились к земле. Жара катит их над дальним лесом, сжимает, вытягивает слегка. А если голову наклонить вбок, то и вовсе картина чудесная. Небесные шары тогда от солнца розовые и словно плывут на меня. И я в них.

Последние несколько дней пастух гонял стадо другой дорогой. Тут поле все отдало, обновиться ему надо, значит, пора стаду на новый выгон. И вот я в закат смотрю, а внутри желтой травы, у корней, зеленеет. Так бывает у женщин с крашеными волосами, когда отрастают природные.

А вон священник полем движется, подрясник летит, шаги иеромонаха широки, но медленны. И мы идем к воротам – встречать.

Священник к нам, а соседи к изгородям. Но мы прошли в дом. Осмотрелся он, молитву свершил, сели трапезничать.

О чем говорим, о том говорим, а я слушаю и думаю. О его судьбе, о его матери, о своих сыновьях. О сельском приходе, о женщинах-молитвенницах, о мужиках местных, которых середина от себя к краям отбрасывает.

– В окопах неверующих нет, – говорит мужу батюшка. – В атаку любой идет, крестьясь.

Вот, думаю, чего мужики хотят. Им войну подавай. Неужто мужикам русским так страшен мир, как их бабам война?

Я ему на тарелку подкладываю.

– Без царя нам никак, – кивает своим словам батюшка.

Никому нельзя, даже если кто-то так не думает.

Кот оставил затею бояться гостя и муху поймал.

– Ну и зверь у вас, целая рысь! Тяжелый на вид, а вон как прыгает.

Правда твоя, думаю. Не одно то взлетает, что легкое. И как-то там сейчас травница?

– Новые-то ставят вон какие памятники. А из-под большой могильной плиты как вылезешь?

Иной раз и в жизни придавит чем-то, что и впрямь не подняться никак.

– Это не люди его не хоронят, его земля не берет.

Что ж, если он так верует. Мужчины говорят, я помалкиваю.

А на улице соседи прогуливаются. В окошки заглядывают. Я тоже смотрю в окно. В небе как будто бы мыльные пузыри один за другим взялись лопаться. Занавеска задвигалась в первый раз за пять дней. Потянуло свежестью.

– Неделя всего – и Илья-пророк, – говорит батюшка. – На два часа сократится день. Скоро лету конец.

А может, еще погреемся.

– Смотрите, у ваших ворот белый пес. Ну а мне пора. Благослови, Бог, и дом, и трапезу. Выходим, идем по траве, а ему кричат:

– А к нам не заглянете, батюшка?

- Сегодня поздно, разве что завтра.
- Мы вас будем ждать!
- Священник в деревню пришел. Трава в целебной росе.

Ночь одарила долгожданной прохладой. Постель моя изголовьем к окну, подушка на подоконнике. Так и сплю, будто гуляю на улице. Просыпаюсь – щеки горят, будто всю ночь по лесам бродила. А сегодня еще и ветерок легкий, не жарко, не холодно, в самый раз.

- Хорошо-то как! Что же делать-то? Последний день. Может, кота помыть?
- Зачем его мыть? Вон он весь в росе, утром вымытый.

Последние дни в отпусках наших тут всегда сказочно хорошо. Словно край зачарованный все свои красоты представить на память спешит.

- А что это к вам вчера батюшка?
- Поговорить о жизни, поужинать.
- Надо и нам позвать.
- И правильно, благодати в дом.

Птицы поднимают птенцов высоко, учат стайности. С березы в небо вся крона летит. Смотрю, только что поднялись птенцы, а уже толково строятся. Торопятся, век птичий короткий.

А когда я летала со стаей?

Если было такое, то коротко. А посмотреть с другой стороны, так до сих пор с ней лечу. Вишню рано желтым пометило. Что ни ветка, кое-где листья зрелые.

Вот созрешь одним в себе, а другим – никак.

- Возьмите салата к обеду, да вот еще зелени.
- А вам вот, попробуйте. Нам так очень нравится.

Урчит, блаженствуя в тени липы, кот. А под кучей, рядом с диваном, точно так же урчит лягушка. Да и с дерева слышится: «Уррр, уррр».

Мы, люди, такие разные, а ведь тоже порой в один голос поем.

Поднимаюсь в дом, собираться пора. Старый холодильник с раскрытой дверцей гремит, роняя лед.

И люди чаще сперва ударятся, а потом оттаивают.

Грохнул большим куском льда и на время притих холодильник. Только слышна капель – размеренно, гулко.

Вот без слез не оттаять и нам.

Иду набрать воды. Мы воду цедим сквозь сито. Крепим его на ведро, сверху шланг. А из шланга летят в сито наросшие за жару водоросли, что в темноте под домом бурно разрослись, а теперь сорваны с мест гонимой насосом водой.

Вот так, когда иным наполняешься, не забудь процедить.

Откуда у мудрецов их мудрость? От лишений? От таланта? Или просто от неведомого устройства, которое подключает человека к чему-то, о чем нам только гадать?

Вернусь и буду рассказывать, как мы тут жили. Придет ко мне кто-то, кто не был в этих краях, или кто побыл с нами, но коротко. Спросит:

- Почему когда ты рассказываешь свои сказки, то не называешь ничьих имен?
- Чтобы ты сам дал героям свои имена.
- И чтобы я мог придумать, какие они, ты не говоришь об одежде и цвете волос?

Собрать все, что знает живущий, затем все, к чему он стремится, и думать, и стоять догадки. Может, тогда сможем понять, что же такое он, человек?

- А если я буду кому-то пересказывать твои сказки, могу я сказать, кто ты?

Я размышляю. Там, где правят желания, даже самые искренние из них, вряд ли к мудрости подключишься. Она скрывает себя от тех, кто хочет кем-то казаться. Но если это неважно, и если внешняя жажда не выше желания истин, тогда мы имеем шанс. Все же мудрость я вижу безликой. Собранной из множества лиц.

– Можешь представить путника? Увидеть, как он идет по дороге, что-то, наверно, в руках держит. И, может быть, с дальней стороны реки ему машет Старец, счастливой жизни желает...

– Старец с согнутой спиной?

– Бог знает, как выглядел Старец. Ты сумел представить героя?

Кивнет, глядя перед собой размытым взглядом, и я тоже ему кивну, соглашаясь. Отвечу:

– Таков он и есть.

– Вы дела-то на закате не начинайте. А то погубите дело-то.

– Какое там начало, когда отпуск кончается.

– А как ваш кот в городе живет? Не просится?

– В городе он не знает, что можно на улицу выходить.

– Вот бы и нам иногда так.

У соседей напротив злобная собака на цепи. Закатывается лаем, кто бы ни прошел мимо. Но приехали отдыхающие и выпустили своего пса – крупного тихохода породы мне неизвестной. Пес огромен, а хвост у него таков, каким был бы у этих размеров зайца, только цвет зимний. Идет пес, ноги как у коня, голову несет, будто она не на мощной шее, а на бушприте в штиль.

Цепная собака заливалась лаем, а как увидела приезжего пса, так сразу поняла, что лучше молчать. Но и того мало – завалилась на спину. И вот жители дивятся, такая лютая собака, а поди ж ты.

– И зачем оно надо?

– А когда не знаешь, что бывает, так и душа не рвется.

Пес лежащую обнюхал, завис над ней, а она и глаза закрыла, решила, что смерть пришла. Только он хвостом заячьим помахал и на конских ногах унес голову корабельную. Не могла природа такого создать. По всему гибрид.

– Разве мы не все так живем, чтобы еще просить?

– Вы-то нет, у вас, в городах, все что хошь.

– Так я не про города.

Цепная собака, не смотрела, а чуяла. Только пес повернул уходить, сразу давай пузо скрывать. Ушел, она свернулась калачиком, в три раза уменьшилась. Лежит и виной мучается.

– И правда. Ведь не знаем же ничего.

– Никто.

Как прожили месяц, не ходили ни по грибы, ни по ягоды.

Помню, был год грибной, ведра белых приносили люди, солили, сушили, варили, жарили. Белых тогда ветер по всему краю разнес, где не грибные места, и там проросли.

Я нашла два подберезовика у дома. Два подберезовика и три волнушки. Срезать не стала. Волнушки надо вымачивать, а двух подберезовиков и на суп не хватит.

Помню, только погрустила, а ко мне идут. И белыми делятся, так много белых было в том году, что угощали и ими.

Вот и теперь соседи пришли, в который раз принесли дары.

– Вам в дорожку. На зиму. Нас вспоминайте, когда кушать будете.

– Хозяин, хозяин! – зовут мужа моего. – Зря ты водку не пьешь, сейчас бы твой отъезд отпраздновали. Бери хоть банки, не донесет хозяйка твоя.

Август обещают теплым, а каким был июль?

Обхожу участок. Улыбаюсь облепихе, киваю двухголовой вишне, глажу листочки малины. Кончиками пальцев касаюсь зеленой еще ежевики. Каменная пока. А уедем, выйдет солнышко и созреет она ребятишкам на радость.

– Не пропустите ягоды, через пару недель их надо снять, – киваю через забор.

– Да уж не упустим, не упустим.

Крот подрыл черноплодный куст. Несколько норок вокруг как будто пробил перфоратором. Зову мужа, показываю.

– И что? Предлагаешь залатать дыры? А кто говорил, что черноплодку девать некуда?

– Я говорил, – шутя отвечаю, – я и сейчас скажу.

– Так и не подсматривай за животным, пусть живет на свободе своей. Не опрокинет он твой куст.

Вот уже и за кротом не подсматривай.

Целый день напоследок гуляю. Дохожу и до сосенки.

Вдали участка, рядом с могучей березой, несколько лет назад бросила семечко сосна. И стала на глазах подниматься. Но первые робкие ветки сосенка разворачивала в одну сторону. На той стороне, что почти граничила с березой, они получались истонченными, даже игл на них и то меньше росло.

Сосенка быстро тянулась вверх. Похоже, хотела перерасти березу, вот тогда бы освободила место для кроны. Но сколько ни старалась сосенка, не удалось ей березу обогнать. Отчаялась она и пустила ветки однобоко. Так и выросла – всеми ветками на сторону.

А береза не пострадала. Что была сосна рядом, что нет.

Стоят рядом два дерева. Друг другу не нужны.

А когда я, если был кто-то рядом, не развернула ветвей, не пропустила к ближнему света? Хоть тут никогда.

И вот убраны в дом качели, закрыты окна дома, повешен на двери легкий, почти условный, замок. Это все для порядка, чтобы окна-двери ветром не разболтались. Дом наш почти невесомый, как из пустых спичечных коробков. Подойди, подопри плечом – и можешь переставлять стены.

Набитая вещами машина урчит у ворот, обнимаюсь с соседями, прощаясь.

– К вам я теперь через год только.

– А что дом закрыли влегкую?

– Скоро дети приедут, всерьез собираются.

А округа преобразилась, воздух искрит, листья на деревьях поблескивают, птицы распелись. Между рек радуга в два коромысла – яркая, широкая. Пьет из рек слева и справа, глаза притягивает. Так и кажется, что земля себя напоследок во всей красе представляет, чтобы память покрепче взялась.

– К травнице-то, слышали, тоже детей понаехало. Так она ворчит, говорит: никак не дадут помереть. Уж было и не вставала, а тут поднялась, пироги печет.

– Это да, чего ради них не сделаешь.

Покряхтывая, машина ползет по дороге, то на один, то на другой бок переваливается. Тут тракторы дорогу бьют, земля мягкая, а дальше покрепче и ровно, вот еще потерпеть чуть-чуть.

Кот тяжело дышит за спиной. Язык у него упал, кот сейчас как собака, которой жарко.

– Ну, как он там?

– Мне кажется, он плачет.

Муж смотрит вперед, набирает скорость. А мне ни труда, ни гонки. Утешаю кота, любуюсь просторами неохватными. Вчерашний разговор по телефону вспоминаю.

Они позвонили к вечеру и сразу позвали отца. Он сначала тихо сидел, слушал. Потом встал, заходил по дому, заскрипел половицами, в седую шевелюру руку запустил, волосы на затылке ершит.

Дождалась, смотрю молча.

– Дети новый дом поднимать надумали, – говорит строго, а глаза как в молодости.

Я тогда только кивнула, стала дальше книги собирать, что с собой, что тут останется. Перекладывала и смотрела в окно, как будто хотела каждый листик, каждое облачко запомнить, раз ни тут не останешься, ни с собой не унесешь. И не остановишь время.

А сегодня кажется, надо бы спросить. Что там дети решили, как все будет. Думаю о своем вопросе, смотрю в окно, облаками любуюсь под куполом.

– Они еще и обставили все так, знаешь, что и возразить было нельзя, – муж почувствовал, начал сам. – Вы, говорят, сами нас учили, что человек не может на месте стоять. Говорили, он или вверх тянется, или вниз ползет. Это ваши слова – если человек не строит, то разрушает. Вот, говорят, мы и решили, что латанием не обойтись. Довольно, говорят, дом разрушать, мы не так воспитаны.

Облако впереди – то ли лошадь, то ли собака. Бежит, передними ногами бьет по синей тропе, и от бега ног почти не видно становится. Или у меня расплывается взгляд.

– Так и сказали?

Смотрю – кивнул. Рулит молча.

И правда, думаю, что это мы. Разве нам не по силам? Вон, все вокруг обновляется. А мы раз говорили правильно, надо и делать правильно.

Хватит нам разрушать.

Пришла пора новый дом строить.

Разбитый арбуз

Повесть вторая

Строковы

Вкусно поесть – это ли не удовольствие? Но последнее время Алёну увеселительные сборища все больше отталкивали. Самой себе она объясняла это тем, что в их обществе ничего не менялось: однообразные темы для разговоров, только наряды всякий раз новые и рестораны чем богаче, тем лучше. За много лет Алёна так и не сумела до конца примириться с традицией бессмысленной траты денег. Ведь неоправданные же расходы, думала она каждый раз. Хоть и вкусно. Но ведь все самое дорогое. Куда бы ни пошли, везде непременно VIP-зал.

Сегодняшний ресторан уютно устроен, в стиле загородного охотничьего домика. Темное мореное дерево, массивные балки под потолком, настоящий, мастерски сработанный сруб. Мебель дому под стать. Столы крепкие, тоже рубленые, стулья с высокими ровными спинками, на стенах картины с пейзажами, оленьи рога и травы сушеные пучками. Вдоль невысокой стены – два старинных резных буфета с вереницей разнообразных банок из бересты.

Вроде ничего особенного, и уютно, и привлекательно, однако Алёна находила интерьер перенасыщенным, даже надуманным. Ей казалось, так может жить в глубоких лесах какого-нибудь далекого от всяческих городов края семья егеря с женой-знахаркой, которую окрестные невежды посчитали колдуньей, скуки ради распустили о ней слухи и сами потом в них поверили. Скучно егерю с женой в одиночестве, но они притворяются, что это не так, и изо всех сил украшают свое жилище всем, что попадает под руку. Ради минимального разнообразия.

На первом этаже ресторана единственный атрибут, говорящий о достатке, – печь с изразцами. Алёна представляла, что если к этой печи встать спиной, чтоб ее не видеть, то обстановка вполне могла бы понравиться маме и папе. Вот только пахнет тут официозом, а родители всегда предпочитали дом с его неповторимыми запахами всего, к чему прикоснулась душа. Алёна сама-то с грехом пополам привыкла к ресторанам, а они никогда бы не согласились на еду, за которую надо столько платить. Даже если бы их угощали, то и тогда не стали бы есть, кусок бы не полез в горло. А если бы кто-то стал очень сильно настаивать, то попробовали бы что-нибудь, но только из вежливости. Лишь бы от них отстали.

Нет, никак родители Алёны не смогли бы быть рядом с ней. Каждый раз она думала об этом, грустила и казнилась, что не может отнести маме и папе попробовать, что ест сама. Вот и сейчас тяжело вздохнула.

Тут отменно кормят, на удивление разнообразно и вкусно.

Но на стульях с прямыми спинками не расслабишься, да и простоват первый этаж, поэтому «общество» всегда поднималось выше, в зал с камином. На втором этаже сказочная обстановка лесного бытия смягчалась широкими окнами, овальными столами и креслами, у которых не только спинки, но и сиденья изгибались услужливо, словно швейцары, чьи глаза по природе своей приспособлены правильно потупить, а тела владеют секретом, как почтительно склониться перед самым низкорослым гостем. И, конечно, блюда. Пару лет назад здесь же Алёна заказала котлету по-средиземноморски. А что, почему нельзя в ресторане съесть куриную котлету с пармезаном? Но официант, подавая ей блюдо, словно стеснялся и откровенно сиял, одаряя ее соседей Волковых морскими гребешками с немного вздутой хрустящей «накрахмаленной» корочкой. Впрочем, может быть, ей это только казалось, ведь сколько раз Алёна сдерживала восторженное качание головой, глядя на то, как исполняют свои «па» официанты. Она считала их работу высоким мастерством.

Вот «общество» wpłyвает, неся свою респектабельность, словно штандарт, участники действия рассаживаются, и даже выражения лиц у всех одинаковые. Официантов не просто не замечают, а свое пренебрежение демонстративно подчеркивают. Смотрят мимо или сквозь. Похожее и раньше было – муж еще до перестройки любил по ресторанам с друзьями ходить. Он и тогда к красивой жизни тянулся. Но за последнее время «общество» заметно «раздуло», и вот она, самая новая мода – глядеть куда-то чуть выше лбов, как будто взгляды застыли, а шеи прострелены миоцитами.

Алену всегда подобное отношение к людям корбило, и она, если кто-то из официантов бросал на нее взгляд, благодарно в ответ улыбалась, кивала и говорила «спасибо», когда подавали. Только Леня попросил его не позорить.

– Ты же провоцируешь персонал. Хочешь неприятностей людям? Им не предписано вступать в общение с посетителями.

Алена в то, что Леонид печется о персонале, не поверила и объяснением мужа не прониклась. Но раз он недоволен, то она оставила для официантов едва заметные движения головой. Хотя что-то, чтобы она могла продолжать чувствовать себя человеком.

Одно утешение – еда. Конечно, застолье это всегда развлечение, хотя Алене шведский стол казался куда приятней, там можно взять всего понемножку. А в ресторанах ты обречен на единственный выбор. Она любила пробовать новые блюда, случалось, что заказывала «не то», а потом с сожалением смотрела в тарелку соседа, как в прошлый раз, когда она заказала себе утку в апельсиновом соусе, и этот соус кислил. Рядом Вашко-Лагутина уплетала каннеллони с шампиньонами, моцареллой под каким-то изысканным соусом, Алена вздыхала и думала, что макароны трудно испортить. Она терпеливо ела утку, прекрасно зная, что устроит Леня, если на привкус хотя бы намекнуть.

Самым неприятным моментом оставались навязчивые беседы о ведущих брендах и о крутизне недавних приемов. «Там такой уровень, ну, это нечто!..» – тут у говорящей, ведь это именно женская «обязательная программа», глаза взлетали в поднебесье, плечи поднимались вверх, ладони распахивались настежь. Дальше звучал радостный смех. Никто, конечно, не мог ошибиться, что выше уровнем только Бог.

Правда, о Боге тут помалкивали, хоть и крестились при виде церквей, Алена отмечала это в поездках. Через стекло машины или на улице – прилюдно, размашисто хотя бы кто-то один перекрестится, остальные одобрительно кивнут. А разговор на другую тему в это время не прерывается, даже паузы не возникает. Движения отдельно, мысли отдельно. Алена находила такие действия показательными. Становилось стыдно, неловко и тянуло поозираться.

И о брендах, и о новых блюдах модных поваров Алена еще как-то слушала, хоть и предпочла бы поесть в тишине и всего попробовать, чтобы никто не мешал. Даже показной «крестеж» кое-как терпела. Но стоило кому-нибудь произнести слово «уровень», как возникало одно и то же желание, справиться с которым становилось все тяжелей: немедленно хотелось извиниться и уйти. Или уйти, не извиняясь. Или вот еще совсем новое состояние: сказать гадость, а уж потом уйти. Только бы при этих «уровнях» не присутствовать никогда.

– Почему у тебя опять пустые уши? – Леонид буквально прижал ее к стене, но сделал вид, что их беседа – всего лишь безобидное обсуждение чего-то милого, семейного. Он крепко держал Алену за локоть, не давая ей отодвинуться от себя. – Пожалуйста, ответь, уши пустые почему? Я же просил надеть новый комплект, сколько можно смешить народ и показывать, что тебе наплевать на мой статус?

– Я забыла, Ленечка! – Алена смутилась, расстроилась, на глазах даже слезы блеснули. Она вовсе не собиралась огорчать мужа, а серьги оставила, наверно, на бюро или в ванной

на полке. И по рассеянности не вспомнила. К ресторану они подъехали из разных мест. Если бы собирались дома вместе, ничего бы не произошло.

– По-твоему, я к тебе должен приставить женщину, чтобы ты прекратила свои демонстрации? – муж улыбался, но глаза его смотрели холодно. – Ты и вправду считаешь, что я должен тебе верить? Тогда ответь мне, почему у тебя снова мешок вместо сумки и что ты туда натолкала? – Он продолжал улыбаться, кивал, наполнял взгляд добродушием и одобрением, хватки своей тем временем не ослабляя.

Алена маленькие сумочки для приемов не любила. В них ничего не помещалось, с ними она чувствовала себя незащищенной, почти голой. То, что муж пренебрежительно назвал «мешком», она считала хорошей, «умной» сумкой, в которую томик Волошина можно было бы и не запихивать, но это вышло случайно.

Вот как раз серьги она надевать и собиралась, да-да! Но пробежалась взглядом по книжным полкам. Леня последнее время намекал, что от библиотеки пора избавляться, дескать, книги это пылесборники, и вместо них есть компьютер и электронные «читалки». Только Алена и слушать не хотела, в буквальном смысле затыкала уши. Она считала книги своим едва ли не единственным сокровищем, правда, зная мужа, на любимые полки теперь посматривала с печалью, предполагая, что в один далеко не прекрасный день они могут из квартиры исчезнуть. Вот и в этот вечер она словно приласкала взглядом корешки книг, увидела Волошина, вытащила, открыла наугад и даже закачалась слегка в такт строчкам, так легли на душу призабытые слова, которые раньше она знала наизусть:

Обманите меня... но совсем, навсегда,
Чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда...
Чтоб поверить обману спокойно, без дум,
Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...

Тут кто-то ее окликнул, она сунула книгу в сумку, а серьги, наверное, остались лежать на полке, среди стихов. Или все-таки в ванной?

Алена огорчалась всякий раз, когда муж сообщал ей об очередной обязательной вечеринке. Она бы лучше сидела дома, занималась своими делами, готовила или, пристроив на коленях вазочку со сдобным печеньем, читала. Дома у нее всегда находились дела, она постоянно была чем-нибудь увлечена: рисовала, вязала, шила, а потом везла свои поделки родителям. Мама всему радовалась, отец рисунки на полки ставил и по стенам развешивал. А вот дома это все никого ни интересовало. Ни Леонида, ни Катю. Разве что с Костиком еще можно было поделиться, вместе поделывать что-то, но и это случалось все реже и реже.

Последнее время Алене нравилось печь хлеб, и сейчас она с удовольствием поставила бы закуску. Но не пойти на прием нельзя, это вообще не обсуждалось. И она послушно шла, утешая себя тем, что вкусно поесть никакой антураж не помешает: взять омара по-каталански и наестся от пуза, благо его заказывают на вес. А потом можно будет и поговорить. Она в конечном итоге в разговоры как-то втягивалась, во всяком случае, старалась никого не обижать, чтобы Леня не вычитывал ей нотаций. Но в этот раз с самого начала случилась незадача с серьгами.

Весь оставшийся вечер для Алены полз, как тяжелая лодка по песку. Праздновали день рождения Новика, читали стихи, в которых, по обыкновению, «поздравляем» рифмовали с «желаем», вручали подарки и возбужденно аплодировали. Алена тоже хлопала, старательно улыбалась и хотела домой.

Кроме еды в этих вечерах для нее был еще один приятный момент – танцы, но не с кем попало, а только с Вашко-Лагутиным. Он так прекрасно умел вести партнершу, что любая женщина, даже неуклюжая Погодина, в его руках чувствовала себя неподражаемой и грациоз-

ной. Все женщины мечтали танцевать с ним, и тут Алена от остальных ничем не отличалась. Однако сегодня Вашко-Лагутины на вечеринку не пришли, отчего Алена огорчилась и, бросив взгляд в окно, за которым падал снег, размышляла о скорых каникулах.

Вот бы чудесно было провести каникулы за городом, поехать к ее родителям... Дом у них небольшой, но уютный и крепкий, в этом доме сразу, с порога, возникает ощущение надежности и глубоких корней. Еще только вошел, вдохнул, и, как бы тебя в городе ни болтало, ты уже стоишь на ногах крепко, ни в чем не сомневаешься, во всем уверен, а главное – уверен в себе. Как будто ты и есть этот дом. Ничего лишнего тут нет, но все, что душе угодно, найдется. Так говорит отец.

Внутри в доме, в двух комнатах, небогатая обстановка, зато погребок у родителей образцовый. Там чувствуется такая забота, такая любовь – буквально в каждой закатанной банке! Алена в домашнем погребе могла оглаживать эти банки руками, как книги в городской квартире. Мама всегда делала так, спустится вниз и любовно рукой по банкам пройдет: «Хороши огурчики, а, дочь? Горошек-то каков, один к одному, меленький». А папа кивает, улыбается: «Вот богатство, а какое нужно еще? Мы, если что, всегда выживем».

И природа... Какая там природа! На лыжах так хорошо пройтись, да и вообще, Алена была уверена – там есть именно то, что нужно человеку в детстве. И главное, все просто и честно, никакой помпезности, ничего наносного. Родители Алены настолько цельные люди, что рядом с ними поневоле проникаешься их мировоззрением. Они все расскажут и про «хорошо», и про «плохо», сделают это без затей. Послушаешь, как рассуждает отец, – и вопросов не возникнет, даже удивительно становится, что сам ответов не нашел. И никаких плохих настроений у них не бывает, они даже не поймут, о чем речь, если сказать, что ты устал или чего-то не хочется делать, или, например, если заикнуться о внутреннем конфликте. Кинут взгляд удивленный и дальше пойдут. Потому что какие конфликты, если ждут дела? Алена бы припомнить не сумела, чтобы кто-то из ее родителей пожаловался на слабость или на неподходящее настроение. Отец всю жизнь трудился с утра до вечера, при этом напевал под нос. Он всегда все делал с улыбкой, и до чего же это бесценно! А уж как мама готовит, – и Алена улыбнулась своим раздумьям.

– Могу я тебя попросить вернуться в общество? – нарушил ее воспоминания Леонид, и Алена встрепенулась растеряннo. – Тебе второй раз предлагают вино, но ты не слышишь.

– Да, Ленечка, я здесь, прости... Спасибо, мне достаточно...

Их компания состояла из нескольких пар. Мужчины работали в одной системе, но фирмы у всех были разные. Самые крупные, головные, принадлежали Новику, которого сегодня чествовали, и Леониду, мужу Алены. Их тоже называли по фамилии, Старковы, как здесь было принято.

По иронии судьбы в компании на всех женщин пришлось два имени: дамы «общества» делились на Наташ и Лен. Возникла постоянная путаница, оттого и выработалась привычка называть друг друга по фамилиям. Кроме того, сначала шутя стали предварять фамилию словом «господин» или «госпожа», а потом это вошло в традицию. Впрочем, по именам друг друга изредка окликали тоже. Но чаще все же «господин имярек», да еще в третьем лице, что Алене ужасно не нравилось.

– Не желает ли госпожа Старкова десерт?

Это Волков, он внимательный и заботливый, внешне довольно мягкий. Пожалуй, самый приятный человек из оставшихся. Он показался бы Алене еще милее, если бы сказал просто: «Хочешь пирожного?», но это уже относилось к области фантастики.

Сравнительно недавно, когда «господа» еще не укоренились, компания была существенно больше нынешней. Разношерстней, правда, тоже, но живее. Человечней. И Волков этот самый – «последний из могикан», однажды в поездке Алена видела, как он улыбнулся кому-

то из прислуги. Может быть, если бы не капитал, он давно бы уже вылетел «из обоймы», как другие. Нет, вряд ли, опровергла Алена себя. Она вспомнила, как однажды Волков при выходе из отеля уронил шарф. Метрдотель бросился, поднял, протянул. Волков, не глядя, шарф взял, Алена тогда пристально смотрела. Если у кого-то что-то падало, ей всегда хотелось поучаствовать. Вот она и заметила, как презрительно дернулась губа у Волкова. Нет, он не вылетел бы.

– Немного, спасибо! – она улыбнулась и, ковырнув ложечкой сливочный профитроль, снова подумала о том, как замечательно можно будет провести каникулы в этом году в ее родном доме. Дети хоть немного смогут расслабиться и в самом деле побыть детьми. Поваляться в снегу, поиграть в снежки. Побывать рядом с бабушкой и дедушкой, поучиться у них основательности.

Возможно ли это? Алена покосилась на мужа, стараясь уловить ответ на свой вопрос, но вид Леонида ничего не выражал, кроме интереса к разговору с Погодиным. Оба вспоминали прошлогоднюю регату, кивали и соглашались, что жюри тогда судило небеспристрастно.

Обычно в ноябре все уже точно знали, куда отправятся после Нового года. А тут середина декабря – и тишина. Значит, надежда есть, сказала Алена себе, подумала вдруг, что зря она так каждый раз сопротивляется этим встречам, и улыбнулась. Вполне получился спокойный праздник с минимальным выпендрежем. Если бы не очередная прорва денег и не забытые серьги, то даже милый, а окажись тут еще и Вашко-Лагутин, так просто хороший. И Леонид к концу вечера словно смягчился, не одергивал ее и не придирался. Она решила поговорить с мужем. Тот факт, что они ни разу не проводили каникул вместе с ее родителями, казался ей все более убедительным, ведь с его родней они частенько отправлялись куда-нибудь вместе. Наверняка Леня не откажет, отдых за городом – простой и вполне разумный вариант.

В этот вечер она ничего говорить мужу не стала – все же вернулись они довольно поздно. В понедельник тоже не собралась, закрутилась по дому, потом не вспомнила, а в пятницу за ужином Леонид сообщил, что «общество» планирует поездку в Финляндию после Нового года и что билеты заказаны на второе января.

Ей бы промолчать. Но об этом она подумала значительно позже. А в этот момент расстроилась, словно каникулы вместе с родителями в их родном доме за городом ей были уже обещаны, а вот теперь обещание варварски нарушалось. Она собралась возразить, что ни в какую Финляндию не поедет, они там уже были. Потом ей захотелось попросить мужа передумать, едва не упрекнуть в том, что он снова принял решение сам и не посоветовался с ней, но вместо этого она начала сопеть, отворачиваться, встала, чтобы уйти, но не ушла, и слезы потекли по ее щекам.

– У тебя месячные? – Леонид поначалу поведение жены со своими словами не связал. – В чем вообще дело?

Если бы он спросил как-то иначе, все бы, может быть, обошлось. Посопела бы и смирилась. Но «месячные» – это ужасно обидно! То, как муж поставил вопрос, показалось Алене и вульгарным, и отвратительным настолько, что она не сдержалась и разрыдалась всерьез, чего давно не случалось. Теперь она вытирала слезы и приговаривала, что муж за все годы ни разу никуда не пригласил ее родителей, даже не предлагал. Они ведь к нему как относятся, просто боготворят, всегда всем в пример ставят, а он... Ему, конечно, стыдно, что у нее такие родители, но он мог бы этого хотя бы не выставлять напоказ. Если они каждую копейку считают, так что в том плохого, люди просто экономные. И, может, это только отговорки, что они не любят путешествий, их же не звали. Может, она тоже имеет право побыть с папой и мамой, не только он со своими родителями, о них-то он беспокоится. И дети к его старикам ездят постоянно, вот и сейчас у них, а ее родители хотят общаться с внуками не меньше. Алена причитала, что, может, дети тоже мечтали бы видеть и других бабушку-дедушку чаще, что они могли бы показаться с настоящих гор на санках и поесть домашней пищи, а не выходить к ужину в отелях,

соблюдая дресс-код. И что он никогда с ее мнением не считался, вечно ставит ее перед фактом и только требует, требует, требует, а она больше не может так жить.

– Вот сейчас, в этом году, дети могли бы быть у моих, но тебе ведь это даже в голову не пришло, – Алена плакала тихо, она не скандалила, нет, сначала просто жаловалась и вздыхала, вздыхала. Но не могла остановиться. – Ты не думал, что мои скучают, а может, обижаются, просто они скромные люди, никогда слова тебе поперек не скажут. И все это «общество» твое, я хочу и от них отдохнуть тоже, они не моя семья, мне с ними неинтересно, почему я должна каждый праздник с ними встречать? Ты же сам, когда Вашко-Лагутин фамилию жены себе присоединил, говорил, что он зависит от ерунды, значит, слабый, свой род задвинул. Значит, род Вашко задвигать неправильно, а мой можно? Почему для меня твои родители как родные, а мои для тебя... – и Алена, не ожидавшая от себя и половины такого словесного потока, разрыдалась безудержно. Она повторяла сквозь всхлипывания, что несчастлива, что муж ею не интересуется, ни в чем ее не поддерживает, постоянно критикует, что ему, кроме денег и работы, ничего не надо и что детей он хочет воспитать продажными эгоистами, не способными на любовь.

– Ты идиотка, – Леонид сказал это тихо, слишком тихо, чтобы в ответ не испугаться. – Я твой род задвигаю? Отлично. Я не думаю ни о ком. Я слабый, да? Я как Вашко-Лагутин. Хорошо. А ты, может, это ты у нас с утра до ночи пашешь, а я дома сижу? Да ты знаешь после этого кто? Ты безнадежная совковая курица, к тебе детей подпускать на пушечный выстрел нельзя, иначе ты их окончательно угробишь!

Леонид словно поперхнулся и замолчал. Плечи его полезли к ушам, руки он сунул в карманы, но сжал их в кулаки. Таким взбешенным Алена видела его впервые, оторопев, она переводила взгляд с выпирающих костяшек кулаков Леонида на его лицо.

– Почему угроблю? Что значит «нельзя подпускать»? – внезапно она поняла, что наговорила недопустимого, и в ужасе попятилась к окну, схватилась за занавески, хотя муж стоял далеко, у входной двери.

– Ты вырастишь из них таких же никчемных серых обывателей, как сама. В общем, так, – Леонид вытащил из шкафа большую спортивную сумку для фитнеса, начал как попало забрасывать туда какие-то вещи. – Не хочешь ехать в Финляндию, не надо. Даже к лучшему, хватит уже народ смешить. Значит, мы превосходно поедем туда без тебя. И вот что я подумал. Почему бы нам не развестись? Как считаешь, может, стоит? И живи ты как хочешь. Ты... у меня слов на тебя нет. Ничего, кроме себя, не видишь вообще. Да и себя-то не видишь. Ты же... ни до одной станции в жизни доехала!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.